

ГРИГОРИЙ ЗАБЕЖИНСКИЙ

Ж И З Н Ь

И

ТВОРЧЕСТВО

РАЙНЕР МАРИА РИЛЬКЕ

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

ЧАСОСЛОВА

ПАРИЖ

1947

ГРИГОРИЙ ЗАБЕЖИНСКИЙ

Ж И З Н Ь
И
ТВОРЧЕСТВО

РАЙНЕР МАРИА РИЛЬКЕ

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

ЧАСОСЛОВА

ПАРИЖ
1947

ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО И СМЕРТЬ ПОЭТА.

Райнер-Мария Рильке родился в 1875 году в Праге. Он происходил из старинного каринтийского дворянского рода. В 1890 году он окончил кадетский корпус и должен был стать офицером. Но вместо этого уехал учиться в Мюнхен, Италию, Париж, попал в 1899 г. в Россию, душу которой старался понять и раскрыть.

Потом поселился в Париже, сделался интимным другом, а потом и секретарем знаменитого скульптора Родэна, писал французские стихи, был окружен поклонниками своего таланта.

Дружба с тем, кто «лепил сердцем» оказала поэту огромную услугу. «Я пришел спросить вас — пишет Рильке — как жить, и вы мне ответили: работая. Я это прекрасно понял. Работать, это жить не умирая. Я полон радости и благодарности, ибо с раннего детства я не желал ничего другого. След от дружбы с Родэном остается на писаниях Рильке, как «весна на цветах той страны, которая начинает понимать голос жизни».

Этот весенний цветок он собирает повсюду: Рим, Швеция, Дания, Алжир, Тунис, Египет,

снова Франция, Венеция, Испания. По всем этим местам проходит он серым странником, сосредоточенным в своих собственных глубинах и оставляет в этих странах не более следов, чем птица на небе.

Первый сборник стихов Рильке **LARENOPFER** появился в 1895 г. В нем звенят еще воспоминания о его родине, и мотивы ее народной песни навевают на него сумрачные грезы. Во втором сборнике **TRAUMGEKROENT** 1897 г. все те же грезы, идиллические девушки в «снежных цветах», девушка, останавливающая странника, чтобы венчать его во сне. Но после короткого периода «грез безмятежного счастья» в следующих сборниках **ADVENT** 1898 и **MIR ZU FEIER** 1900 появляются робкие вопросы. Поэт хочет осмыслить жизнь, зреть «вдали от жизни и вдали от времени». Он еще — ожидание, порою несколько растерянное, мало осознанное, как у девушек, о которых он поет, за которыми он стоит, как тень, самое бытие которых — «Весна на многочисленных ее путях, но нигде еще — не цель». Порою Рильке беспомощен, как воспеваемые им дети, «которые поют к солнцу и широко раскрытыми от изумления глазами смотрят на звезды», — те самые дети, которые, по его уверению, обладают лучшим способом любить Бога.

В его последнем произведении *Aus den Aufzeichnungen von Malte Laurids Brigge*, где за спиной героя так же мрачно возвышается тень

Рильке, как за спиной Фауста исполинская тень Гете — эти идеи доминируют. Мир должен быть открыт вновь, он должен возстать из глубин своего собственного «я», оттуда, где люди очевидно потеряли власть его ощутить. Незнакомый и чудесный мир! В нем заключается все прошлое, но не то, которое люди стараются поймать, уча его наизусть. Чудодейственно воскресает детство, в котором поэт как бы дополняет себя и в котором он находит свои важнейшие оттенки и цвета. Неясные очертания людей выходят из тумана и пытаются жить. И вещи принимают участие в жизни, имеют свои воспоминания, свидетельствуют о взорах, которыми они были удостоены, о руках, которые опирались на них. Это беспокойное стремление овладеть самим собой исполнено несказанных трудностей: петлю за петлей должен он поднимать запутавшееся кружево его духа, может быть потратить целую жизнь на то, чтобы придать форму первым упражнениям, не имеющим направления: день за днем менять золото, столь старательно добытое из его философского камня на «грубый свинец — на терпенье». На этом трудном пути главным его помощником должно быть одиночество: «В окружении людей невозможно даже вспомнить «Отче наш»... Каким же образом сможет открыться ему таинство — соответствий (символов) существующее не в словах, а в событиях».

Поэту Рильке часто мечтает о том, чтоб хоть когданибудь совершенно тихо стало, чтоб

тот на миг замкнуло все случайное, все источное... и соседний смех.

*Но как-же может поэт, долженствующий «гла-
20 лом жечь сердца людей» быть молчалиником? В
этом, кажущемся противоречии и отражается
все своеобразие, вся словесная скупость, полное
отсутствие литературы у Рильке.*

Есть гимны у меня, которые молчу...

*Великий мастер слова доводит свою жажду
молчания до апогея, до абсолютного вселеня:*

*Шаг за шагом, подвигаясь на пути самоуглубле-
ния, поэт научается, наконец, познавать самую
ужасную из реальностей, которая не поддается ни
дроблению, ни анализу, и никогда не выдаст пол-
ностью своей тайны. Смерть.*

*Она становится его ежедневным размышлением,
его страстью, его навязчивой идеей. Не должен ли
каждый из нас постичь ее сам? Не является-ли
смерть личной принадлежностью каждого, его
внутренним плодом, для которого мы — лишь
листья и кора? Каждый миг исполнен угрозы,
каждая мысль приносит ее образ. Смерть усколь-
зает от наших внешних чувств, она распростра-
няется, растворяется в неведомом внутреннем
измерении. С развязностью, присущей всем навяз-
чивым идеям, она воплощается в предметах, в
мелочах жизни, в каждом атоме воздуха. «Это
мухи, которые осенью покрывают комнаты смер-
тью», «несмотря на страх, я похож на того, кто
стоит пред чем то необъятно великим и я вспо-*

минаю, что когда то я чувствовал в себе нечто подобное, когда я готовился писать». «Как определить момент, когда страх превращается в желание, когда глаз человека, разрешая солнцу ослепить себя, приходит к созерцанию какой-то неведомой и странной утренней местности, где блаженные покойники гуляют среди ангелов».

То место, которое Рильке отвел смерти в царстве жизни, сама жизнь охотно согласилась бы занять в царстве смерти. «Конечно, смерть — жестокая штука, и чего-чего не следовало бы успеть раньше, чем не начнешь чувствовать немного вечности. Но все живущие неизменно впадают в ту же ошибку чрезмерного разграничения. Говорят, что ангелы часто не знают границ, когда ходят между живыми и мертвыми». Вечный поток уносит все возрасты в оба царства, и здесь, как и там, его шум заглушает из.

Воспевать смерть молодых, быть другом покойников, быть всегда смертью в Еврипиде, все более и более живя в Орфее, страстно и сладостно приобщиться к тому и другому миру и по невидимой колесе ангелов этих «смертных птиц души» постоянно вздыматься до чистейшего созерцания и понимания смерти — таково последнее стремление Рильке. Принимая заранее возможность любой метаморфозы, поэт нашел в себе силы оторваться от своей земной оболочки, уйти от самого себя и принять цикл превращений за одну, единую, прогрессивную и продолжающуюся смерть, за могучий экстаз и радостное успокоение.

Могучий ваятель словесного материала — Рильке своими особыми, ему только свойственными приемами пробивается через поверхность вещей (это не всегда только люди) и внедряется в их сокровенные тайники, как будто бы для того, чтобы выпытать у них тайну бытия. Не о том, чтобы заботливо и тщательно изобразить мгновенное впечатление хлопочет Рильке. Он проникает в самую сердцевину вещей, старается духовно сродниться с их сущностью настолько, чтобы уже на основании их внутреннего содержания сделать понятной их внешнюю форму. Он один из первых поставивший во главу угла тайный смысл всего существующего, взамен искусства создавать впечатления и подчас ему удаются духовные откровения ошеломляющей меткости, как будто сама истина касается вас своим крылом.

Прошло время робких вопросов о сущности вещей, ведающих лишь к выявлению личности самого поэта. Способность Рильке заполнить чужое «я» отнесная на задний план столь приевшееся «самовоспевание» поэтов. Рильке уходит далеко вперед от импрессионистического «эгоцентризма». Его лирическая песня охотнее поет о ком то, чем о себе самом. Вся его «Книга Часов» есть перевоплощение поэта в душу русского монаха, который стремится в своих молитвах, гимназах, признаниях, закланиях и в последней искренности, почти исповеди, постичь Того, чье имя нельзя назвать, Того, Кто таится за ликом самого поэта.

Тоска — часто повторяющийся лейтмотив.

*Мне кажется, что наше русское слово «тоска» и шире и уже немецкого *sehnsucht*, а у Рильке она еще какая то особенная. Это — неясное стремление, неудовлетворенность настоящим и смутные предчувствия. Такой «тоской» он не только наделяет людей; он вкладывает ее в душу природы, в душу ближайших и отдаленнейших вещей, которые он наполняет своим «я».*

Кто может сказать мне куда
моей жизни ведет меня жребий,
царю-ли грозою на небе,
живу-ли волною пруда?
Веревой ли бледной я не был,
что зябнет весною всегда?

Наконец, стремление, предчувствие, искание разгадки, словом, та же своеобразная «тоска» обращается у Рильке к великому Зодчему вселенной, к Богу.

В книгах, подводящих к этим вопросам, Рильке достигает апогея своего творческого напряжения «Книга образов» 1902 г. и «Книга часов» — 1906 г. — шедевры, которых сам Рильке уже не мог превзойти и которых по исключительной их своеобразности и мистической напряженности, пожалуй, не превзошел никто. «Созерцание — говорит Рильке — это освобождение. Я прислушиваюсь, и дали открывают мне душу вещей».

«Вот приближается гроза, этот могучий преобразователь всего сущего, проходит через лес и через время, и все кругом теряет свой возраст: вид окружающей природы по углубленной серьезности, мощности порыва и вечности становится похожим на стих псалма».

Стремись, работой служи, приближайся к Богу и смело вплетай Его в свою жизнь, потому что Бог любит каждого, «кто Его, как орудье берет».

Работа, это культ, угодный Богу; как бы скромна ни была она, «рабочий день, как бы мик святой для рук обветренных моих».

Рильке — противник бытотры, спешки.

Все спешащее
мимо, конечно, пройдет.
Только длящееся
нам посвящение дает.

Враг темпов, рекордов, он как-бы в пророческом предчувствии не только не радуется успехам самолетов, но отворачивается от них в мистическом ужасе:

Тот, кто дерзал небесных птиц
полет искусный предвосхитить,
тот тяжести закон насытит
и должен кротко падать ниц.

Сколько бы побед ни одерживать над внешней природой, спасения в этом не найти, а скорее можно почувствовать себя еще более одиноким,

еще более слабым и несчастным, увидав, как использует эти победы человеческая гордыня.

Чтобы приблизиться к разгадке смысла жизни и пониманию своей внутренней сущности, а через него и к пониманию того, что такое человек и что для его счастья надо, надо отказаться от гордыни ума и от заученных без проверки истин, надо переучиться, начать все сначала, вникнуть в значение всех вещей и в назначение каждого человека и отдаваться «разумным силам Бога и природы». Учись этому от «вещей», которые искриво воспринимают, отражают и символизируют более великие вещи; эти последние скромно мерцают при всем многообразии своих значений и смыслов, и только человеческое слово отнимает у них бесконечный, неисчерпаемый смысл, грубо называя их, скажем, собака или дом. Что понимают люди в том, как чудесна гора. Под ее обаянием все «вещи» немеют и как бы цепенеют. Только поэты и поэтически чувствующие дети, девушки, проникновенные читатели слышат; что вещи «поют».

Медленно созревала у Рильке «Книга часов», но зародилась она у него несомненно в России, о пребывании в которой поэт рассказывает в тоне незабываемой задумчивости. «Россия — страна, где люди необычайно одиноки, каждый со своим собственным миром внутри; каждый — непроницаемо-темный, как гора; каждый глубок в своем отчаянии, без всякого страха быть уничтоженным и поэтому по настоящему религиозен».

Рильке горячо полюбил Россию или, во всяком случае, крепко привязался к ней невидимыми мистическими нитями. Об этой стране он говорил: «Здесь нет обычной ясности слов, люди молчаливы, их слова — только слабые, шатающиеся мосты, протянутые над их истинным бытием».

В этой именно стране и могла зародиться у него поэма, которая «вокруг Бога парит — древней башни в лазури», книга, которую один из известнейших критиков новой немецкой литературы Albert Soergel называет «глубочайшим и прекраснейшим молитвенником двадцатого века — «Часослов».

Французский критик Betz дает следующую характеристику отдельных книг Рильке: «Книга образов — прозрачность и текучесть; книга часов — медленное, длительное, настойчивое эхо; новые поэмы — густота реальности; элегии — чистый кристалл».

О «русскости» настроений и мотивов Рильке, его тонической невучести, поклонник латинского гения, представитель метрического стихосложения, и не догадывался. Между тем для меня в этом и состояла главная притягательная сила стихов любимого поэта.

Мне кажется, что вдохновение его скользит между волнами и не знает времени; что желания его — в вращающемся шопотом ежедневных диалогов «Часов с Вечностью»; что апофеоз его жизни — это когда «до дня или до кануна» наиболее одинокий час поднимается над всеми прочими и, улыбаясь иначе, чем его братья, умолкает, посвященный Вечности. «Нигде кругом, моя возлюбленная, нет

мира, он только в нас». У Рильке начинается странное и чудесное слияние реального с нереальным, когда единственная реальность остается за словом, которое не только выражает, но воистину творит, являясь как бы божественным излучением.

И если с одной стороны Рильке почти обожествляет молчание и тишину, считает их одним из великих качеств Бога, призывает их, как благодать, на свою личность и жаждет погрузить в них свою душу — он с другой стороны, как поэт, должен от времени до времени неизменно нарушать молчание после длительных периодов глубокого созерцания, и тут наивысшей реальностью кажется ему слово, которое не только выражает, но и творит истину. Вера в эту творческую силу слова превращается у него в глубокую и горячую религию.

Весь мир, видимый и невидимый, прошлое, настоящее и будущее теснятся пред ним, как один безграничный образ, как бесконечный океан, из которого он черпает по своей воле.

Наша интимная жизнь важнее, чем человеческие учреждения, чем взаимоотношения государств. Это открытие дает ему дар ясновидения. Его глаза открываются на мир, на самого себя, на людей, которых он видит в другом свете, потерянных в одиночестве, предоставленных самим себе, растерянных и трогательных.

«Возможно ли говорить «женщины», «дети», «мальчики» и при всей своей культурности не подозревать, что эти слова давным давно не имеют

множественного числа, что они — бесконечно единственны.

Особенно возмущает поэта, что люди говорят «мой дом», «моя жена», «мой ребенок».

Рильке не только глубоко одинок в своей личной жизни и лишен всего, что люди называют «своим» (родины, землячества, политической партии, церковного прихода, семьи), но он и в творчестве своем глубоко одинок и даже единственен. Он не принадлежит ни к какой литературной школе, у него нет ни крестных отцов, ни крестников, ни ярко выраженных последователей.

Он парит над всей кутерьмой человеческих заблуждений, дрязг и кровопролитий. Для него всякий человек, если он даже «делатель истории», не искавший и не нашедший самого себя, а в себе самом не нашедший Бога, проклят.

К таким постелям ангелы не ходят,
не для таких великий свет ночей,
отвергнуты отцами, они бродят,
и изгнаны из чрева матерей.

Даже символ строительства храма (и строительства вообще) столь основательно истертый уже с древнейших времен, начиная от средневековых масонских лож до Ибсеновского строителя Солнуса, использован поэтом как то особенно. Пусть читатель вдумается в те из стихотворений, которые он найдет в этом-же сборнике:

«Мы руками дрожащими храм воздвигаем...» (стр. 32).

«Мы все — рабочие различных степеней...» (стр. 39).

«Смотри, Господь, пришел строитель новый...»
(стр. 37).

«Я знаю. Ты загадочный...» (стр. 54).

«Ты — темная почва, что зданья несет терпе-
ливо...» (стр. 66).

и символ строительства предстанет его уму и воображению одновременно чаруя и скульптурностью и безплотностью, а, самое главное, своею ни на кого не похожиею образностью.

Стих Рильке побеждает не сразу. Не все сразу понятно, и многое отпугивает. Рильке производит рискованные эксперименты, идущие вразрез не только с грамматическими правилами, но и подчас с окаменевшими устоями обще-принятого литературного языка.

Но то, что на первый взгляд может показаться беспомощностью непосредственного и непродуманного, порою даже тупого натиска, раскрывается вскоре прозорливому читателю, как преднамеренный артистический жест, который уклоняется от предписанных норм, потому что и поделиться он должен с читателем чем-то таким, чего раньше никто не слышал. Чтобы приобщить читателя к своей тайне, поэту нужны средства особенные, на давно усвоенные образцы непохожие. Он вносит в свой стих повышенную подвижность, он пренебрегает равномерностью, плавностью и, начиная с внешних форм (характера и расположения рифмы, постро-

ения фраз, стихов и строк) и кончая неожиданностью раскрываемых символов, образов и оборотов — он повсюду какой-то особенный, свой, ни на кого не похожий.

Удивительную роль играет рифма: попадают строфы, наполненные их полновзвучным громом, не только усищенные в конце каждого стиха, но и насыщенные ими внутри каждой строки, оглушающие многократным повторением одной рифмы в последовательном ряде строк и даже строк; но зато можно встретить нередко и такие строфы, где рифм почти не слышно, где они разбредаются друг от друга на расстояния четырех-пяти строк, где они заменены аллитерациями, или просто забыты. Характерно при этом, что чаще рифмуются не те слова, смысл которых сильнее настроения — глубже, и игра воображения тоньше, а, наоборот, более прозрачные, пустые, уясняющие грамматическую связь, служебные слова.

То же приблизительно можно наблюдать и в ритме. Некоторые стихотворения, как кокетливые аллеи стройных и прекрасно подстриженных пиний избегают по крутым склонам гор до самых вершин с такой легкостью и быстротой, что при чтении их вы едва успеваете перевести дыхание («Ранние Стихи», «Книга Образов», «Новые Стихи»), наоборот, тяжело ступают подчас, как бы заплетаясь ногами от тяжести поднимаемых глыб: слова одной слитной фразы искусственно разлучаются, переносятся в следующую строку, а иногда даже в следующую строфу... и это не случайно, а

много раз подряд разрывает целую фразу на части... Но какая глубина мысли под этим тяжелым ритмом, какое богатство образов, необъятность символов. Вам кажется подчас, что поэт умышленно заглушает природженную ему звонкость и ломает свой ритм для того, чтобы вы почувствовали всю важность, особенность, невыразимость, беспредельность и вечность того, что он хочет сказать. Странная судьба Рильке; неустанным исканиям его мятущейся души соответствовала и скитальческая, почти бездомная жизнь. Родившись и выросши на почве немецкой культуры, он, как — веком раньше его великий предшественник Гейне, не мог ее долго выдержать. Он странствует по всей Европе, неизменно возвращаясь в Париж, чтобы на одном из его кладбищ и быть похороненным.

«Нет у меня отчизны,
и не мог я ее потерять.
Просто так, в этот мир меня к жизни
бросила мать».

Но, если парус пантеистического челнока Гейне надувался, главным образом, его политическими идеалами, если Гейне был созвучен эпохе и бурно переживал современную ему революцию, серый, узкий и треугольный парус Рильке терялся вершиной в небесах и надувался зефирами мистических прозрений и религиозных экстазов.

Ни прогремевшая над миром в его время мировая великая война (1914-1918), ни современные ему

революции не оставили никаких следов на его творчестве

Рильке не только не был созвучен эпохе, наоборот, он — живой ее контраст. В этом его трагедия... или, может быть, трагедия его воинствующих современников.

В 1925 г. Рильке попадает опять в Париж, где его славословят, переводят на французский язык и издают. Это, однако, последняя вспышка его вечерней зари. Он уезжает в Швейцарию, живет один в старинном замке. Через год он серьезно заболевает и, чувствуя приближение ранней смерти, он, с присущим ему смирением и доверием к «Неназываемому» категорически отказывается от инъекций, которые должны были бы несколько продлить его жизнь. «Дайте мне умереть своей смертью, а не медицинской», просил он...

Г. Забужинский.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

ЧАСОСЛОВ

содержащий три книги :

О монашеской жизни;

О паломничестве;

О бедности и смерти.

Книга первая

КНИГА О МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ

(1899)

Склоняется день, он коснулся меня,
и ясному бою металла я внемлю.
Дрожат мои струны, и чувствую я:
изваянный день я объемлю.

Еще ничего не закончилось в мире,
пока не взглянул я вокруг.
Все вещи стояли, не двигаясь с места.
Раскрылись зеницы, отверзлися шире:
и каждому, каждому вдруг
приходит желанная вещь, как невеста.

Ничто мне не мало и все я люблю,
пусть малым остаться ему суждено,
из чистого золота смело леплю
и ввысь подымаю,
Однако не знаю,
чью душу развяжет и тронет оно.

В кольцах, вечно растущих, я жизнь изживаю,
в тех кругах, что над всеми вещами парят.
Одолою-ль последний из них я не знаю,
но хочу испытать.

Я вокруг Бога парю, — вечней башни в лазури —
и миры уже тысячи раз облетев,
Я не знаю еще, кто я: сокол, иль буря,
или вечный напер.

Есть много братьев у меня в сутанах...
в монастырях, на юге, там, где лавр растет.
Я знаю, как они, подстать своей природе,
рисуют женщинами Богородиц.
И грежу я о юных Тицианах,
в которых бег сияющий грядет.

Но, если я к своей склоняюсь глубине,
мой темен бог, — он—ткань корней несметных,
в молчаньи пьющих. Подняться-б только мне
из божьего тепла. Я большего не знаю.
Ведь ветви все мои внизу, и ветром
колблемые изредка кивают.

Свободно рисовать нельзя нам образ твой,
ты—предраассветная, из коей утро встало.
Из древних чаш стараемся устало
лучи и краски те-же брать,
какими о тебе святой
умел молчать.

Мы строим на стенах твои изображенья,
так что вокруг тебя миллионы стен стоят;
рук наших набожных тебя таят движенья,
когда сердца тебя открыто зрят.

Люблю я сумерки души моей:
они—приют моим глубоким мыслям,
по ним читаю, как по старым письмам,

что жизнь моя, что цепь текущих дней
была давно уж мною пережита
и далека, как даль легенды позабытой.

Из них я познаю, что я—пространство
для той вневременной, второй широкой жизни.
Порой я — дерево: весеннее убранство
его и зреет и шумит на тризне,
над гробом воплощая сон,
что потерял, тоскою озарен,
под грустных песен звон
угасший рано мальчик.
Трепещет дуб.
Вокруг змеится клуб
корней его горячих.

О если иногда, сосед мой, Боже,
, в глухую тьму
я твердым стуком твой покой тревожу,
то только потому,
что редко слышу я твое дыханье,
И знаю я: один ты там...
Ты жаждешь, и в ответ — молчанье.
Нет никого с тобою рядом даже,
что-б дать напиток страждущим устам.
Дай легкий знак. Я тут, всегда на страже.

И отделяет нас лишь тонкая стена,
и то случайно так и слабо...
возможно ведь, что и она,

по зову уст твоих или моих
беззвучно вдруг упасть могла-бы.

Она воздвигнута из образов твоих.

А образы перед тобой стоят, как имена.
И, если вдруг тот свет во мне зажжет их,
которым познает тебя
души моей немая глубина,
растратит он себя,
как блеск на золотых киотах.

И чувства все мои, что быстро отмирают,
теряют родину... и с ней тебя теряют.

О если-б совершенно тихо стало,
хотя-бы раз, хотя-б на миг,
и все случайное вдруг замолчало...
и смех соседа замер... если-б даже
от собственных-же чувств моих
шумливое смятение не мешало
стоять на страже —

тогда-б в тысяchedольной мысли мог
тебя я до конца продумать и понять,
тогда-б я в силах был тобой, мой Бог,
на краткий миг улыбки обладать,
и раздарить тебя, о светозарность,
всему живущему, как благодарность.

Живу, как раз, на грани двух веков.
Я чую ветер с листа большого:
на нем и Бог, и ты, и я писали много слов;
он высоко в чужих руках
кружится в облаках.

И чувствуется блеск на той странице новой,
где может все еще произойти,
где начинаются далекие пути.

И силы тихие, всю ширь свою пытая,
стоят, друг друга мрачно озирая.

В твоем глаголе это я читал,
в истории твоих свершений,
где горячо и мудро длань твоя
наметила пределы бытия.
Не ты-ль велел в одном из изречений
«жить громко, тихо умирать»,
и слово «быть» не уставал
произносить и повторять.
И все-ж, не дожидаясь первой смерти,
пришло убийство.
Тут трещина открылась в зрелой тверди
твоих испытанных кругов,
и крик пошел неистовый,
и заглушил все хоры голосов,
что собрались с решимостью железной
тебя в сердцах своих носить,

тебя, о мост над всякой бездной,
превозносить.

А лепет их после того,
все то, что твердили потомки,—
только древнего имени твоего
обломки.

Бледный мальчик Авель говорит:

Нет меня. Мой брат мне сделал то,
что от очей моих утаено.
Он свет загородил,
потом
лицо мне заслонил
своим лицом.
Теперь я одиноко.
Я думаю, что он еще живет.
Никто ведь не дерзнет
с ним сделать то, что сделал он со мной.
Все шли его стезей:
все разжигали гнев его,
все гибли от него.

Я верю, что на страже мой великий брат,
как день Суда.
Ночь обо мне уж думала стократ,
о нем же никогда.

Ты — тьма, что родила меня,
люблю тебя сильнее огня,
что грани мира окружает
и блеском ярким озаряет
один какой-то круг,
откуда выхода никто не знает.

Тьма держит все: меня и зверя,
Огни и образы, и царства, и людей;
Все безраздельно в ней.
И может ведь случиться,
что мощь великая вблизи зашевелится.

Ночам я верю.

Я верю всему, что не сказано раньше,
я набожным чувствам хочу дать свободу.
То, о чем прежде никто и мечтать-бы не смел,
станет невольно моим.

Если это гордыня, о Боже, прости.
Я хочу этим вот что сказать:
пусть лучшая сила моя
станет проста, как порыв,
так, без опаски, без гнева;
так, как дети любят тебя.

Этим приливом и этим втеканьем
через многорукавное устье в открытое море,
этим вечно растущим возвратом

тебя я хочу и познать и принять;
Я хочу возвестить о тебе,
как никто до меня.

Если это гордыня, позволь-же мне гордым остаться
ради молитвы моей,
что так одиноко и строго
глядится в свой облачный лик.

Одинок я на свете, и все-ж недостаточно, нет,
что-б каждый час посвятить.
Я—ничтожество в мире и все-ж недостаточно,
нет,

что-б вещью твоею лишь быть;
вещь тихо лежит и темна, и умна.
Я хочу мою волю, и хочу мою волю вести
по дорогам к великому делу.
И в тихие, кой-как плетущиеся времена,
когда что-то к пределу
нас приближает,
быть хочу между теми, кто знает,
иль остаться один.
Во всю твою статью
я хотел-бы тебя отражать,
и не слепнуть, не чувствовать груза годин,
чтоб в силах быть образ твой тяжкий и шаткий
держать.

Я хочу развиваться,
нигде не хочу я согбенным остаться,
ибо там, где мне выю сгибали,

там меня оболгали.
И хочу, чтобы образ мой
был вечно правдив пред тобой.
Описать-бы себя я хотел,
как портрет, на который вблизи я годами смотрел,
будто слово, что понял без всяких сомнений,
как кувшин для моих омовений,
как лицо моей матери милой,
как корабль,
что гроза проносила
через свою смертоносную хлябь.

Ты видишь, я много хочу,
быть может всего:
всю сумрачность вечных падений
и каждого взлета каприз светозарный.

А многие так и живут без стремлений,
довольствуясь смыслом бездарным
своих легковесных суждений.

Ты-ж всякому облику рад, что стремится,
и служит, и жаждет.

И мил тебе каждый,
кто тебя, как орудье берет.

Еще ты не холоден, и погрузиться
не поздно еще в глубину твоих вод,
где жизнь так спокойно себя отдаст.

Мы руками дрожащими храм воздвигаем,
атом на атом возводим,
но кто в состоянии тебя довершить,
о Собор,
если ты нескончаем,
как мой кругозор?

Что Рим?
Он рушится.
Что мир?
В прах рассыпается,
раньше, чем купол на башне твоей вознесется,
чем бесконечных мозаик узорность сольется
в твой сияющий лик.
Лишь во сне иногда мне случается,
среди звездных порфир
разглядеть твой чертог
от самых глубин основания
до золотых перекладин на крыше...
и приходит тогда мне видение,
что дух мой все выше и выше
на купол последний взлетает,
рисует и строить кончает
украшений последних последние звенья.

Отого, что когда-то тебя возлюбил хоть единый,
я знаю: нам можно желать тебя, Боже.
Пусть покинуты нами глубины,
пусть никто в них спуститься не смеет, —
и что-же?

Если золото есть в недрах гор,
и никто в них не может вонзить свой топор, —
поток,
проникающий в тихую тайну камней,
унесет его к свету сильней,
чем расчет пронести-бы мог.

Даже, если-бы мы не хотели,
зреет Бог.

Кто жизни тьму противоречий
сумеет примирить
и в образы восторженно облечь,
тот из чертога вытеснит
всех крикунов.
Тот по иному празднует... не с ними,
и ты — тот гость, которого обнимет он
в блаженный тихий вечер.

Ты будешь двойником в его уединеньи,
и средоточием речей,
и каждый круг, вокруг тебя чертимый,
раздвинет циркуль времени ему.

Зачем в кистях мои блуждают руки?
Ты еле замечаешь, что тебя пнигу я.
Я чувствую тебя. На грани чувств моих
ты медленно растешь, как в море острова.

Я — кругозор очей твоих,
от века не моргавших.

Покинув блеска своего края,
де танцев ангельских изгибы
все дали музыкой заполонили, —
в своем последнем доме ты живешь...
и небо все твое внимает мне,
за то, что, мысля только о тебе,
я — вечный твой молчалыник.

Я здесь, смиренный мой, не слышишь разве ты
прилива дум моих и пламенной мечты?
Предчувствия мои, расправив крылья,
вкруг лика твоего, в сверканьи белизны
порхают.
Ужель не видишь ты души моей усилья?
Она — перед тобой в плаще из тишины.
Ужель моей молитвы майский взлет
не созревает
на взоре божьем, как на древе плод?

Когда мечтаешь ты, я — весь твоя мечта.
Когда на страже ты, я — воли твоей сын.
И благодатью высшей напоен,
и ширюсь куполом надзвездной тишины
над чудным градом всех времен.

Нет, жизнь моя — не этот час крутой,
в который видишь ты мой шаг спешащий.

Я — дерево пред дальнею стеной.

Я — лишь один из многих ртов,
с тобою говорящий,
и тот, как раз, из ртов моих,
который раньше всех затих.

Я — перерыв меж двух тонов,
что плохо уживаются друг с другом:
Тон смерти хочет превосходства —

но в промежутки темные досугов
вдруг примиряются они дрожа...
и песнь прекрасной остается.

Когда-б я вырос где-нибудь,
где легче дни, часы стройнее, —
я выдумал бы праздник для тебя,
и руки-бы мои тебя держали
не так, как часто держат... робко, жестко...

Я там дерзнул-бы расточить тебя,
О, безграничное мгновенье!
Как мяч,
я бросил бы тебя в потоки
шумящих радостей, чтоб кто-нибудь
тебя поймал,
подпрыгнув с поднятыми высоко руками
падоною твоему навстречу,
о, вещь вещей!

Ты заблестел-бы, как клинок,
я окружил-бы твой огонь
кольцом червонным,
и оно должно было-б сверкать
над самой белою рукою.

Я-б рисовал тебя, не на стене, —
на небе — от края до края.
я вылепил-б тебя, как это сделать
гигант-бы мог: гора, прилив,
самум, растущий из песков пустыни —
или...
возможно тоже: я-б нашел
тебя однажды...

друзья далече...

едва, едва доносится их смех,
а ты, ты из гнезда упал,
птенец с когтями желтыми,
с громадными глазами, и жалко мне тебя;
и слишком широка ладонь моя.
И пальцем каплю ключевую
беру и наблюдаю,
достанешь-ли ее ты клювом;
и слышу я: твое трепещет сердце,
трепещет и мое —
от страха оба.

Я нахожу тебя всегда на новый лад
во всех вещах (я с ними — друг и брат):
Таишься в малом ты зерном,
великому ты отдаешься целиком.

В том сил чудесная игра и смысл их вещей,
что все они, служа, проходят через вещи:
в корнях — как рост; в стволах — как средостежье;
в листве вершин — как воскресенье.

ГОЛОС МОЛОДОГО БРАТА.

Я теку, теку, как песок,
что сквозь пальцы течет;
сразу нахлынул поток
множества чувств... и вот:
каждое
томится по разному жаждою,
каждое — радость и крест.
Тысячи мест
томят меня жгучею болью,
но острее всего и более —
внутри... в сердце моем.

Умереть я хочу. Оставь-же меня одного.
Я верю: тогда я достигну того,
что хочу... я в угол забьюсь
и в страхе я буду таком,
что мой остановится пульс.

Смотри, Господь, пришел строитель новый,
вчера еще юнец, для жизни не готовый.
Придали женщины — мать, няня и сестрицы
такую складочку рукам его,

которая почти-что лжет. Десница
уже от шуйцы требует того,
чтоб защитить себя, чтоб сделать знак рукой,
и что-бы вообще остаться ей одной.

Еще вчера был лоб, как камень в ручейке,
годами закругленный с давних пор,
похожими на рябь в реке,
на тех-же волн прибой, не ищущих чудес,
желающих лишь одного:
носить какой-то лик с небес,
что высоко над ними случай распростер.
Сегодня давит лоб его
весь груз событий мировых
перед судом неумолимым.
Сегодня страшную морщину
чертит на нем высокий приговор.

Идет простор на новую личину,
и не было еще лучей таких,
и всходит новая заря,
и новый свет идет неугасимый,
и начинается вновь летопись твоя,
как никогда еще не начиналась до сих пор.

Люблю тебя, нежнейший тот закон,
в борьбе с которым все мы созревали.
Ты — зов родных полей и далей,
и той тоски, что мы не обуздали.
Ты — лес, который мы не покидали.

Ты — песня, что мы в тишине певали.
Ты — невод темный, сеть времен,
куда в тревоге чувства попадали.

Ты был великим и бездонным
в тот день, когда творенья пробил срок.
И созрели мы в светильниках раскаленных.
Так был глубок наш сев, размах широк,
что мог-бы в людях, ангелах, мадоннах
ты, отдыхая, лик свой завершать.

Оставь-же длань на небе возлежать
и не карай деяний наших темных.

Мы все — рабочие различных степеней:
шахтеры, подмастерья, мастера...
и строим мы тебя, алтарь высокий.
Но иногда (о, светлая пора!)
рукой дрожащей новый шлиф камней
покажет нам заезжий издалика
строитель. Яркий блеск его искусства,
как молния, прорежет наши чувства.

Держа в руках тяжелый молоток,
вздыхаемся на щаткие леса...
до той поры, пока какой-то час
с приветом от тебя, как с моря ветерок,
таинственно коснется нас
и облобзает наши лбы.

Великий шум и звон пойдет с тех пор
от множества усердных молотков,
за стуком стук, через уступы гор.
Когда-же небеса
оденет тьмы покров,
оставим мы тебя, и лик
грядущих очертаний замерцает.

Бог, ты велик!

Ты так велик, что вот меня уж нет,
когда вблизи тебя стою порою.
Ты темен так. Мой малый слабый свет
теряет всякий смысл перед тобою.
Волной идет твоя господня воля
и поглощает каждый день.

И лишь тоска моя вздымается до лика,
и напрягаясь до боли,
идет в его таинственную тень,
и смотрит пред тобой, как ангел всем чужой,
не спасшийся еще, и бледный, но великий...
и простирает крылья над тобой.

Не хочет он безбрежного полета,
когда светила бледно проплывают.
Он о мирах довольно знает
с далеких пор. Его забота:
зажечь огромных крылий светочь новый
и пред твоим темнеющим челом гореть,

чтоб в белом свете их узреть,
не осуждают-ли его твои седые брови.

Так много ангелов тебя в лазури ищут
и, лбами упираясь в звезды,
сквозь каждый блеск хотят тебя познать.
А мне ,слагая стих тебе, все мнится,
что эти ангелы от складок твоего плаща
уходят, повернувши лица вспять.
Ведь ты и сам был только гостем блеска,
и лишь в угоду той поре,
что в ясной мраморной молитве
звала тебя, явился ты,
как царь кометы, с нимбом золотым
вкруг величавого чела.

Но та пора прошла, домой вернулся ты.

Темны уста твои, которых жаждал я,
и древо черное — рука твоя.

Во время Микель-Анжело то было —
я в чужеземных книгах то читал —
Он был великий муж, и сердцем, полным силы
он о безмерном забывал.

Он был тот муж, что в мир всегда приходит,
когда эпоха жаждет завершения,
и пред концом своим ждет человека,

который ей итог подводит.
Тогда один, в восторге вдохновенья,
всех выше... впереди...
подняв всю тяжесть века,
ее швыряет, но не вдаль,
а в бездну собственной груди.
Все до него знавали радость и печаль,
один он чувствует лишь жизни массу,
и всю ее, как вещь, объемлет он.
Но Бог парит над волею людскою,
высоко вознесен
над подвигом таким:
и вот... с надменною гримасой,
он любит Бога гордою враждой
за то, что тот непостижим.

Та божья ветвь, что веет над Италией,
уж больше не цветет,
Она покрылась-бы плодами без сомненья,
и раньше времени, пожалуй,
но в самый острый миг цветенья
изнемогла, устала
и никогда цветов не принесет.

Там только божия весна светила,
там божий сын — святое слово
путь завершил.
И всходы лучших сил
с любовью новой
на осиянного младенца обратились.

С дарами все к нему ходили
и в песнях славили его,
как херувимы.

Он тихо струил ароматы,
как роза всех роз.
Кольцом из червонного злата
он был для бездомных, их горя, их слез,
их глада и жажды.
Он шествовал в плащах и вечно новых ликах
сквозь строй всех голосов великих
эпохи каждой.

Здесь тоже не была забыта,
была любима нежно та,
что расцветала неоткрыта,
разбуженная для плода,
в петронутой испуганной красе,
она — заступница людей,
и много, много к ней путей.

Ее заставили витать
в заоблачной стихии,
и в бездну человеческих забот
вникать,
и странствовать под-новый год.
Так жертвенно-служебна жизнь Марии
чудесною, и дивною,
и царственной была.

Как праздничные звоны,
по всем домам она прошла.
И некогда по девичьи наивна,
вдруг так погружена была
в свое-же собственное лоно,
так переполнена одним,
и так достаточна для тысяч, что народ
видал, как все сияньем золотым
чудесно озаряло
ту, что лозою виноградной стала,
несущей плод.

Когда-же тяжесть полных гроздей,
подпорок порча, пыль аллей
и песнь отпетая
ее примяли,
то обратилась дева,
не разрешившись величайшим,
в часы другие
к страданьям будущим.

И руки, опустившись вниз бесшумно,
Пусты... Ах!
Она еще не родила великого,
и ангелы, ее не утешая,
стоят чужие, страшные кругом.

Ее писали так, особенно один,
принесший грусть свою от солнца в города.
Ему она цвела загадок всяких чище,
но так обыденна в страданиях всегда.
Он в горе жизнь провел, и до седин
стучался плач в дверях его, как нищий.

Он стал для рук ее вуалью тонкой, зыбкой,
фатою сверкающей, красоты необычайной.
Он льнет к ее устам лобзанья горячей
и извивается на них почти улыбкой.
Не может победить его глубокой тайны
высокий свет семи архангельских свечей.

Той ветвью, что вовек на ветвь не походила,
когда-нибудь, как дерево, господь
свой летний благовест пошлет,
от зрелости шума,
в стране, где люди ждут внимая,
где каждый одинок, как я.

Лишь одинокому дается откровенье,
и множеству отдельных одиноких
дается более, чем одному.
Но каждому из них различный бог приснится,
и будет так до той поры,
пока в слезах они познают,
что через версты их сомнений,
сквозь их допросы, отрицанья,
единый Бог идет волной
в различных образах своих.

И вот конечная молитва:
(все зрячие ее произнесут)
«Бог — корень вся и всех —
принес плоды,
грядите все, мы разобьем колокола,
приходим мы к тишайшим дням,
в которых час стоит созревший.
Бог — корень вся и всех — принес плоды.
Пойми и разгляди!»

Я верить не могу, что маленькая смерть,
которую мы близко видим каждый день,
одну заботу и нужду дает.

Не верю я, что мне — ее угрозы!
Я жив еще, есть время, чтобы строить,
и дольше кровь моя красней, чем розы.
И глубже мысль моя,
чем хитрая игра со страхом,
в которой смерть так нравится себе.
Не я-ль — тот мир, из коего она,
блуждая вниз упала?

Как она,
монахи-странники идут по всем дорогам;
боятся люди их возврата,
не знают, каждый раз, вернулся-ль тот-же,
другой-ли, десять их, иль тысяча, иль больше?
Все знают лишь чужую эту руку,
и желтую, и голую,
что простирается так близко —

Вот, вот:
как будто-бы из ткани собственной
она выходит.

Когда моей наступит смерти срок,
скажи, что будешь делать ты, мой Бог?
Я — твой сосуд (когда в обломках буду?)
Напиток твой (когда иссякну всюду?)
Я — твой покров, и ремесло, и мысль, —
когда умру, ты потеряешь смысл.

Где будет дом, в котором ты, мой Бог,
услышишь близкий теплый мой привет?
Сандалией с твоих усталых ног
Я бархатной спаду, я ею был.
Плащ упадет, в который ты одет.
Твой взор, который я по мере сил
тепло ласкал щекой у изголовья,
искать меня с улыбкою придет;
когда-же солнце скроется за башней,
чужие камни соберет...
Что будешь ты, когда твой раб умрет?

О, Бог, мне страшно, страшно...

Ты — тихо шепчущий, ты — в саже;
покоишься на всех печах.
Во времени все знание наше,
ты-ж подсознания темный страх —

глас вечности во всех веках.
Ты — умоляющий и робкий,
паришь над смыслом всех вещей,
ты — в песне слог, что дрожью кроткой
в произвольности своей
несется к сильным голосам.

Иначе не учил ты сам.

Нет, ты велик не той красою,
что у богатых на устах,
ты — странник с бедною сумою,
крестьянин с темной бородою, —
глас вечности во всех веках.

Молодому брату.

Вчера — еще дитя, — сегодня ты — в смятеньи:
не расточи-же кровь младую в слепоте.

Ты чаешь радости, не ищешь наслажденья;
ты создан, как жених, но должен стать тебе
невестой твой-же стыд. Удвой-же бденье!
Огромной страсти ты изведаль вожделенья,
все руки стали вдруг кругом обнажены.
на образах святых все бледные виденья
чужим огнем озарены;
И чувства все твои, как сотни змей в движеньи,
охвачены пурпурным песнопеньем,
в строй барабана вплетены...

Внезапно ты один, оставлен всеми,
с руками, чей тебе враждебен самый вид...
и. если воля вдруг чудес не сотворит.

.....
Но через кровь твою и там, и тут
От Бога вести в это время,
как-бы по улицам текут.

Молодому брату.

Молись тогда, как тот тебя учил,
кто возвратился сам в смятеньи,
и так, что-б ликам всех святых,
носящим все отличья сана,
в церквах, в киотах золотых
он придал красоту, и меч она-б держала.
Тебя он учит говорить:

ты — смысл глубокий,
доверься мне, чтоб я не обманул тебя;
в моей крови так много шумов,
но знаю я: я соткан из стремленья.
Большая строгость веет надо мной.
В ее тени прохладна жизнь.
Я в первый раз с тобой наедине,
о, чувство ты мое!
И ты — так девственно...

То женщина была вблизи,
подмигивала мне из блеклых тканей,
но ты мне говоришь про дальние края,
и сила вся моя
глядит на горные вершины.

Есть гимны у меня, которые молчу.
Подъем бывает,
в котором я свои склоняю чувства:
меня большим ты видишь, я-же мал.
Ты можешь смутно отличить меня
от тех вещей коленапреклоненных,
что, как стада, пасутся;
а я — пастух на склоне пастбищ,
с которого стада спускаются под вечер.
Тогда иду я сзади них,
и темным я мостам внимаю смутно,
и в испарениях их спин
мой прячется возврат.

Господь, дай мне постичь тот час,
когда ты ставишь пред собою глас,
чтоб в храме он кружился непрестанно.
Тебе была в том только рана,
ты мирозданьем боль ее студил,
теперь-же это тихо лечит нас.
Веков истекший ряд испил
из всех больных всю массу тканей.
Мы чувствуем уже средь нежных колебаний
биенье ровное первоосновы.
Лежим на пустоте, страдания облегчаем,
не слыша тягостного крика,
разрывы все скрываем...
Ты-ж в неизвестность прорастаешь снова
под тенью собственного лица.

Все, кто руки свои простирают
вне времени к бедному городу,
все, кто привязаны к тихому
в каком-нибудь месте,
почти безымянном, вдали от дорог, —
славят тебя, благодать повседневная,
и с нежностью повторяют:

в основе всего лишь молитвы,
нам и руки даны, что-б творить
только то, что тебя славословит:
рисует-ли кто, или жнет,
от движения кисти, иль взмаха серпа
излучается святость.

Время многообразно.
О времени слышим подчас,
но делаем вечное, старое!
Мы знаем: Господь нас окутал,
как платье, иль как борода.
Мы — жили в базальте —
в твердом величии бога.

Наше имя поставлено нам
на лоб, как свеча.
И склонил я чело
Перед временным этим судом.
Я увидел (с тех пор лишь о том говорю)
тебя, о великая, темная тяжесть
на мне и на мире.

Медленно выгнул меня ты из времени,
в которое я подымался, шатаясь.
После краткого спора склонил я главу.
Темнота твоя длится теперь
вокруг твоей кроткой победы.

Мной теперь ты владеешь, не зная кто я,
так как широкие чувства твои
лишь видят, что темен я стал.
Ты держишь меня удивительно нежно
и слышишь, как руки мои,
движутся в древней твоей бороде.

Самое первое слово твое было: свет.
И время возникло. И долго молчал ты.
Второе был: человек, и робко
(темнеем еще мы в звучаньи его)
был снова в раздумье твой лик погружен.

Но третьего слова совсем не хочу.
Часто ночью молю: пребудь немотой,
что растет, оставаясь безмолвной,
и так подгоняется духом во сне,
что огромную тяжесть молчанья
на звездах чертит, и на горных вершинах.

Будь-же убежищем ты и от гнева,
что несказанный изверг.
На рай опускается ночь,
будь-же стражем, и рог свой возьми,
только сказка ведь то, что трубил он.

Тыходишь, уходишь, и двери
 беззвучно скользят тут и там.
 Тишайший, ты тише всех теней,
что бродят по тихим домам.

Привыкнуть к тебе так возможно,
что глаз не вздымаешь от книги,
когда краше в ней светятся лики,
олазурены тенью твоей;
ты в предметах звучишь непреложно,
тихо впервые и громко — затем.

Когда в мыслях я вижу тебя,
часто образ твой вечный двоится:
светлой серной идешь ты, любя;
а я мрачен, я — лес темнолистый.

Колесо, на котором стою я...
это — ты. Из всех осей одна
тяжела всегда и темна
и кружится ближе... и вот
стих мой покорно растет,
от возврата... возврата взыскупя.

Ты — глубочайший, что восстал,
ты — зависть прыгунов и башен,
ты — кроткий, что себя назвал;
когда-ж трусливый вопрошал,
ты был своим молчаньем страшен.

Противоречий лес густой,
с тобой я няньчусь, как с дитятей;
и все-ж, сбываясь над толпой,
ужасен гром твоих проклятий.

Тебе — древнейшая из книг;
картина первая стремилась
тебя изобразить. На миг
ты был в любви, ты был в страданьи,
и мысль, как из руды, катилась
на каждый лоб, что мирозданья
семь первых дней с тобой сравнял.

Ты в тысячах людей себя терял,
и холодны все жертвы стали,
пока в наполненных церквях
ты двинулся в златых вратах,
и страхи в душах проростали,
и в образа тебя сковали.

Я знаю: ты — загадочный,
вокруг тебя стояло время медля.
О, как меня жестоко наказал
тот час, когда тебя я создавал
руки движеньем сказочным.

чертил я трещины и петли,
во все препятствия вникал...
Потом овалы все и линии
запутались, как в чаще пинии:

все замыслы смешались вместе,
покуда в глубине таясь,
от одного порыва в неизвестность
святейшая из форм родилась.

Я не могу мой труд учесть,
и чувствую: он завершен...
но я хочу глаза отвести,
что-б строить до конца времен.

Вот день рабочий; тень моя,
простерлась чашею над ним;
и я, как зелень, я, как глина,
когда, молясь, рисую я.
Вот — воскресенье, я в долине —
ликующий Иерусалим.
Я — гордый город Господина,

Я сотней языков звучал:
во мне — хвала Давида ныне.
Лежал я под небесным сводом,
звезду вечернюю вдыхал.

К востоку улицы мои
бегут, и, если долго я
оставлен и забыт народом,
то для того, чтобы моя
мирская слава больше стала.
И слышу каждый шаг в себе,
и ширю одиночества мои
я от начала до начала.

Вы, тысячи неосаженных городов,
вы разве о враге порою не мечтали?
Что-б с вас его войска осады не снимали
тревожных десять лет? Что-б вы в тоске, без слов
терпели безутешно голод?
Он стены окружил, он лег тяжелой тучей,
он терпелив, он ждет, могучий,
себе наметив жертву — город.

Взгляните с края нашей крыши:
ваш враг расположился, молча дышет,
не становясь слабей, не уставая,
глашатаев своих не посылая
для уговоров, обещаний и угроз.

Великий стенолом, немой таран!
Работает без слов его могучий стан.

Иду в свой дом от всех скитаний,
в которых потеряться мог.
Я песней был. Звон рифмы ранней
в моих ушах шумит, мой Бог.

Я снова тихий и простой,
и голос мой застыл:
к молитве лучшей и иной
я долу лик склонил.
Иным казался я, как шквал,
когда их потрясал и звал.
Я был вдали, на высоте,

где ангелы являлись мне,
где светы тают в темноте,
а Бог темнеет в глубине.

О, ангелы, вы, как дыханье,
вы, — как зефир последний
на вьшке дерева узорной.
Всех снов милей
и слаше всех химер
для вас — слетать с его ветвей.
Там больше верите сиянью,
чем Бога мощи черной.
Туда укрылся Люцифер
во мрак соседний.

Он — в царстве света князь.
Его звезда с отвесной высоты
Так ослепительно сияет,
что он, челом к земле склонясь,
о сумерках мечтает.
Он ада бог, и время громко
к нему возвало: потому,
что часто он кричит от боли,
от боли-же хохочет звонко, —
оно поверило ему,
и поместило в ореоле
особой святости и силы
того, чья власть лишь бунт творила;
а был он — только ангел падший.

Ах, время, ты — лишь край увядший
кленового листа,

покров блестящей ткани,
что Бог забросил навсегда,
когда, уставший от лежанья,
тот, кто всегда был глубиной,
зарылся вглубь от блеска дней,
покуда над корою земной
сквозь вещи все пророс,
похожий на клубы корней,
несметный всход его волос.

Тебя объять лишь делом можно,
руками только осветить;
и чувство каждое — лишь гость,
что жаждет убежать от мира.

Надуман каждый наш порыв,
видна в нем тонкость очертаний,
и мысль того, кто плел его, —
но ты грядешь и отдаешься
и настагаешь беглеца.

Не надо знать мне, где твой дом:
о, говори мне отовсюду.
Прилежный твой евангелист,
все отмечая, забывает
глядеть вослед звучанью.
Я-ж прямо на тебя иду
всегда своим привычным шагом.
Ведь кто-же я и кто-же ты,
что-б нам друг друга не понять.

во времени ни одного моста.

И Бог велит, что-б рисовал я:
нет глубочайшей боли,
чем время для меня.
Я на его весы кладу:
Жену, что бодрствует, и раны,
и смерть богатую,
(что-бы за них платила),
и вакханалий робких дым,
безумство и царей.

И Бог велит, что-б строил я:
не я-ли времени владыка?
Но для тебя я — только серый
сообщник одинокости твоей:
Я — глаз, что бровью окаймлен...
Он смотрит над моим плечом
от вечности до вечности.

Возникло много богословов
в ночь древнюю. К твоей заре
проснулись сонмы дев, готовых
для бдения иль для молитвы,
и юноши, сверкая в серебре,
тянулись к тебе, ты — битва.

Поэты в лабиринтах длинных
твоих друг другу жали руки.
И были короли и звуки
глубоки, нежны и картинны.

Ты — нежных сумерек черта,
что всех поэтов в ряд равняет.
И, если к одному однажды
проникнешь ты в уста,
то, ощутив находку, каждый
великолепьем окружает
тебя всегда.

И сотен тысяч арф сверканье
тебя вздымает из молчанья,
и ветры древние твои
бросают вздох благоуханья
на вещи все и все пути.

Тебя поэты стали расточать,
(гроза идет чрез каждый лепет),
но я хочу тебя опять собрать
в сосуд, чей радостен и самый трепет.

Во власти ветра долго я блуждал;
тысячекратно в нем меня ты гнал.
Все приношу тебе, что нахожу,
и все, что знаю, я тебе твержу:
тебя слепой, как кубок в руки брал,
и глубоко тебя скрывала челядь.
Бедняк, неся тебя, не должен пасть,
в ребенке есть (кто мог-бы это сделать?)
величья твоего большая часть.

Ты видишь, я — искатель...
тот,

кто сзади рук своих идет,
кто, как пастух, идет скрываясь...
(О, если-б отвратил ты взор,
что путает его в пути встречаясь,
взор чуждых лиц, холодный, как укор!)
Я — тот, кто грезит: завершить тебя
и верит в то, что завершит себя.

В соборы редко солнце проникает,
и стены в них из образов растут;
сквозь старцев, дев, сквозь отблески креста,
как крылья раступаясь, выступают
золотые царские врата.

А в глубине. в колоннах
стена теряется в иконах;
каменья в тихом серебре живут,
как хоры вверх торжественно плывут,
потом в короны падая назад,
прекраснее, чем прежде, вновь молчат.

Над ними синяя, как ночь, бледна,
витает та, что радует тебя: —
привратница-жена,
роса в предутрии невинном,
та, что собой тебя,
как лугом оплетает,
не отцветая никогда.

А купол твой, исполнен сыном,

постройку округляет,
ее скрепляя навсегда.

Угоден-ли тебе твой трон?
Твой раб его со страхом созерцает,
он им до дрожи потрясен.

В него вошел я, как паломник,
и, полный муки, ощутил
тебя на лбу моем, о, камень.
Семью свечами окружил
твой темный лик,
и в каждом образе увидел
коричневую родинку твою.

Я стал, где нищие стоят,
худые и в отрепьях:
из причитаний их и вздохов
тебя, о ветер, я постиг.
Крестьянина я видел,
что зажился на свете,
с предлинной бородой,
как у святого Иоакима.
И из того, как темен он,
я вдруг почувствовал тебя
так нежно, как не постигал
я раньше никогда.
И было откровение без слов
во всех и в нем.

Ты времени оставил быстрый бег,
и никогда в нем нет тебе покоя:
крестьянин обретает смысл твой,
его высоко подымает,
потом опять бросает прочь,
но вновь и вновь его вздымает.

Как у сторожа в старых плодовых садах
есть будка, где он, не смыкая очей,
сторожит, так, о Боже, в твоих руках
и сторож, и ночь твоих долгих ночей.

Луг, виноградник, и яблонь сады,
пашня, которой не вспашет весна,
смоква, что даже чрез твердый гранит
обильно приносит плоды:

всюду от круглых ветвей аромат;
ты не ставишь вопроса: «а сторож не спит?
хорошо-ли мой сад
охраняет?»

Бесстрашно и вечно твоя глубина,
в соках дурманящих растворена,
мимо меня проплывает.

Бог с каждым из нас лишь тогда говорит,
когда он нам жизнь дает,
затем нас в молчанье уводит из ночи.
Но слова эти (раньше, чем каждый начнет),

слова эти грозные — вот:
из бездны чувств твоих, воспрянь
и что есть мочи,
тоски твоей иди до края, стань
для меня, как ткань.

Разрастайся пожаром поотдаль вещей,
так, что-б их тени в громаде своей
бесконечнее и безначальнее
меня целиком покрывали-б всегда.

Дай совершиться всему над тобой:
пусть приходят и ужасы, и красота.
Надо только идти: ни одно ощущение — не самое
дальнее.

Не расставайся со мной
ни на миг.
Близка та страна,
что называется жизнью у них.

Узнается она
по строгости тяжкой. Дерзай!

Руку мне дай!

Я был у старейших годами
монахов, художников и летописцев,
бесстрастно
сказанья писавших и рунами славе чертивших
убранство.

И я вижу тебя в твоих ликах, как шумишь ты на
границах христианства...

Своими ветрами, лесами, водами,
ты — страна, что нельзя осветить.

Я хочу о тебе рассказать,
осмотреть и тебя описать
не лазурью, не золотом, — чернилами из
апельсиновой коры.

И жемчугом я — бы не мог тебя к страницам
пришить,
и образ дрожащий, что чувства мои создают,
превозмог бы ты слепо простым бытием.

Хотел бы я просто и скромно назвать
вещи в тебе и в сознании моем,
хочу перечислить царей и откуда они идут,
и делам их, и битвам древнейшей поры
посвятить я хочу страниц последние строки.
Ты, ведь почва, и тебе времена все, как лето,
и о близких ты думаешь так же, как думаешь ты
о далеких,

И лучше-ль вспахали, и глубже-ль засеяли: эту
жатву ты чувствуешь лишь, как касание легких
перстов;
над собою не слышишь ни сеятелей, ни жнецов.

Ты — темная почва, что зданья несет
терпеливо —
и, как знать: еще час разрешишь городам ты
держаться;

два часа ты подаришь церквам и монашеским
братствам;
пять трудных часов ты спасенным позволишь
остаться;
семь часов еще будешь смотреть на работу над
нивой,
прежде чем станешь опять ты лесами, водой — :
в тот час несбъятного страха,
когда образ неконченный свой
пожелаешь ты чистым опять от всякого праха.

Дай немножко мне времени: буду вещи любить,
как никто,
покуда достойны тебя они станут совсем.
Семь дней я хочу, только семь,
на которых пока не записан никто,
семь страниц одиночества.
Книгу дашь — ты кому, чтобы эти страницы
понять, —
согбенным останется долго над ней, что-б читать,
если в руки свои ты ее не возьмешь, что-б
пророчество
в ней самому записать.

Я просыпался, как дитя,
с спокойной верою такой:
пройдут и ночь, и страх немой, —
и снова я узрю тебя.
Я знаю: мысль моя хромает —
далеко, долго и глубоко,

но все, но все тебя являет,
от века бодрствующее око.

Мне кажется: во мне одновременно есть:
ребенок, мальчик, муж и даже больше.
Я чувствую, что в том кольце, богатом
своим возвратом,
пребуду дольше.

Спасибо, сила — глубина.
Ты тише, тише правишь мной,
как будто сзади стен глухих
твоя укрылась тень.
Моя работа так скромна,
так ровен мой рабочий день;
он, как-бы лик святой
для рук обветренных моих.

Что раньше не было меня,
ты знаешь-ли? Сказал ты: нет.
Тут чувствую, что, если я
не торопиться дам обет,
то не могу вовек исчезнуть.
Ведь больше я, чем сон во сне?
Лишь то, что о черте мечтает, —
как будто день, как будто звук...
И из твоих стремится рук
в свободы внешней бесполезность:
все это длань твоя роняет.

Тебе осталась темнота.
Тогда, проросши меж лучей,
в которых блещет пустота,
из вечно-слепящих камней
пошла история людей.
Есть кто-нибудь, кто строит в ней?
Не зная снов, не зная весен,
стремятся толпы против толп,
лежит стена, на камни раздробясь,
и ни один из тех камней
тобою не обтесан.

В ветвях твоей вершины свет шумит
и вещи все тщеславием пестрит.
Они тебя находят лишь, когда
погаснет день, и выглянет звезда.
И сумерки, и нежность очертаний
простерли много тысяч дланей
на множество голов, и среди них
вдруг набожным становится чужое.

Иначе мир не хочешь ты держать,
чем так на этот нежный лад, на небе стоя.
К себе ты землю мог-бы взять
и чувствовать ее под складками одежд своих.
Когда кончаешь все труды ты,
как скромно бытие твое!

И ты умеешь быть так тих!
Но те, кто громкие тебе дают названья,

уже в твоём соседстве позабыты.
Что-б чувствам нашим дать закон,
от рук твоих, чьи очертанья,
как горы режут небосклон,
встает твоя немая сила
с темнеющим лицом.

Ты расположен, благосклонен ты,
и милости твои
всегда
с древнейших пор на ищущих сходили.
И, если кто-нибудь свои
сплетает руки так, что вроде крылий,
вкруг малой темноты
покорные лежат они вдвоем, —
тот вдруг почувствует яснее,
как возникаешь ты и в нем,
и тут, как ветер, лицо его овет
струя стыда.
И вот он пробует на камне полежать;
чужих увидя, должен снова встать.
Он убаюкать пробует тебя
из страха, что уж выдал снова
присутствие бессонное твое.

Кто чувствует тебя,
с тобой идти не может по дороге,
испуган он, он за тебя в тревоге,
бежит от всякого чужого,
кто мог-бы увидеть чело твое.

Ты — чудо... И оно доньше
Сияет странникам в пустыне.

За час до заката
ко всему уж готова страна:
пусть душа моя скажет, тобою объята,
чего еще хочет она:

будь лугом, и луг будь далеким,
будь в древних, древних курганах,
вырастай еле узнанный, если луна
будет плыть путем одиноким
на плоских, в древнейшие времена
исчезнувших странах.

Образуйся и ты тишина;
дай форму вещам по заслугам
(они будут послушней детей).
Будь лугом, будь лугом, будь лугом,
и, может, тогда подоспеет и старый,
которого еле от ночи могу отличить.
Он несет, как ночные угары,
к двери хижины чуткой моей
слепоты своей долгую, длинную нить.

Я вижу: сидит от зари до зари
И мыслит, но не надо мной, не во мне;
для него — все внутри,
и небо, и луг, и дома всех людей.
Только песни пропали в его тишине.
Забыты мелодии эти,

не слышно ни звуков, ни слов;
их выпили время и ветер
из тысячи тысяч ушей,
из ушей чудаков.

И все-же ... случается мне
думать, что каждую песню ему сохранил
я в заветной своей глубине.

Он молчит за дрожащей своей бородой,
он охотно-бы вновь оживил

в себе прежних мелодий замолкнувший строй.
Тут прильну я к коленям его.
И песни шумящей рекой
обратно втекают в него.

Книга вторая

КНИГА О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ

(1901)

Г розы напор тебя не удивляет,
ты видел, как она растет:
бегут деревья; их полет
седлает бешенных коней
для скачки ветренных аллей.
И познаешь ты тут:
тот, от кого они бегут,
есть тот, к кому идешь,
и славу ты ему поешь,
когда стоишь в окне и ждешь.

Недели лета были тихи, сладки,
вздымалася деревьев кровь,
и вот теперь почувствовал ты вновь,
что пронеслась их страсть,
и кровь деревьев рада-бы упасть
в того, кто все и вечно создает.
Уже ты думал, увидавши плод,
что силу ты познал,
но вдруг она становится загадкой,
а ты... ты гостем снова стал.

И было лето, как твой дом,
в нем знаешь, где и что стоит.
Но к сердцу путь теперь открыт,
и, как в равнине, шаг твой в нем.
И одиночество великое идет,
и глухи дни во сне и наяву,
и ветер из чувств твоих берет
весь мир, как желтую листву.

Сквозь обнаженных листьев ряд
твои-же небеса глядят.
Теперь землей, вечерней песней будь,
страной, к которой он направил путь.
Смиранным будь,
как вещь, что для действительности зреет,
что-б тот, чья весть над миром реет,
тебя-б коснулся и наполнил грудь.

Я вновь молюсь, о ты пресветлый,
ты внемлешь мне в порыве ветра.
Мои глубины знают зов
несказанных гудящих слов.

Я был рассеян. Враг мой злой
мое на части резал я.
Шуты смеялись надо мной,
и пили пьяницы меня.

Себя я во дворах собирал
среди отбросов всякой скверны,
и в грудах битого стекла
полуустами я шептал
тебе, о вечный ,тихий, мерный,
в ком издавна гармония жила.
Я так вздымал полудесницы
к тебе в моленьи безымянном,
что вновь обрел свои зеницы,
и видел бога постоянно.

Я был, как дом после пожара,
где спят разбойники порой
пред тем, как дальше гнать удары
расправ голодных над страной.

Я был, как город портовой,
когда чумою он охвачен:
он у детей на ручках плачет
тяжелой трупной головой.

И был я чужд себе, как тот,
о ком я только мог узнать,
что мучил юную он мать,
когда его она носила
под сердцем страждущим своим,
и что болел ее живот,
и над зародышем моим
сжималось сердце и томилось.

Теперь я восстановлен снова
из моего стыда кусков.
Я жажду благостных оков,
я жажду разума простого,
что зрит меня, как вещь во вне,
творенье рук души твоей.
(о, пусть придут они ко мне!)
Мой Бог, я скупно сберегал себя,
но ты по благости своей,
ты можешь расточить меня.

Я тот же все, что пред тобой
склонял колени в рясе черной,
левит усердный, углубленный,
тобой исполненный,
тобою окрыленный,
тебя открывший...
глас тихой кельи, пред которой
весь мир проходит мимо.
А ты... ты все еще волна,
что выше всех вещей катится.

Все то-же всюду. Только в море
вдруг возникают города.
Все то-же всюду, то-ж молчанье
прекрасных ангелов и скрипок.
И тот, о ком они молчат,
есть тот пред кем главу склоняют
все вещи, что отяжелели
от крепости лучей его.
Ужель ты все... а я один...
кто отдается и бунтует?
А разве я — не лик всеобщий,
не все я разве, если плачу,
а ты — один, который слышит?

Ты слышишь-ли, что где-то рядом
есть голоса помимо моего?
Здесь буря воеет?
Я — тоже буря;
мои леса приветствуют тебя.

Не песня-ль малая,
не песня-ли больная
тебе меня мешает слушать?
Я — тоже песня, внемли ей
неслыханной и одинокой.

Я тот-же все, что иногда
Вопрос несмелый ставил: «кто-ты?»
Я после каждого заката,
израненный, осиротелый,
оторванный от всех и бледный,
отвергнут каждою толпой;
и вещи все стоят, как кельи,
в которых был я заключен.
Тогда мне нужен ты, мой Бог,
ты — посвященный всяким тайнам,
сосед нежнейший всяких бед,
скорбей моих двойник тишайший,
тогда ты нужен мне ,как хлеб.
Ты, может быть, совсем не знаешь,
что значат ночи для того,
кто спать не может. Кто не спит, —
у каждого ведь совесть не покойна,
у старика, у девы, у ребенка...
Все не смыкают глаз они,
как в ожиданьи смертной казни,
и в окруженьи траурных теней
их руки белые дрожат,
вплетаясь в дикость этой жизни,
как псы в охотничью картину.
Прошедшее мерцает впереди,

а в будущем — повсюду трупы,
и кто-то в сером в дверь стучит...
И ни для уха, ни для глаз
нет ни малейших знаков утра,
и далеко до крика петухов.
Похожа ночь на дом громадный...
и страхом рук израненных
они в стенах проламывают
дверей бесчисленное множество,
и возникают лабиринты,
но нет нигде ворот на волю.

И так, мой Бог, из ночи в ночь:
всегда есть кто-нибудь не спящий,
кто ходит, ходит, ищет, ищет,
и не находит все-ж тебя.
Ты слышишь: поступью слепых
они вступают в темноту.
И на ступенях нисходящих
ты слышишь, молятся они?
Ты слышишь-ли: вот пали ниц
они на черные каменья?
Ты должен слышать стоны их,
они ведь плачут... я ищу
тебя, когда они в слезах
проходят у моих дверей.
Почти я видеть их могу.
Кого мне звать, как не того,
кто темен и исчнее ночи,
единого, кто без огня
не спит и все-же не боится,

Глубокого, кто до сих пор
еще не избалован светом;
кого я знаю потому,
что он с корнями из земли
вдруг пробивается наружу,
и ароматом к моему
челу склоненному он всходит.

Ты, вечный. С незапамятных времен
ты мне явил свой лик.
Люблю тебя, как дорогого сына,
ущедшего еще ребенком от меня:
судьба ему сулила трон,
пред коим страны все, как плоская долина.

Остался я, покинутый старик,
который сына взрослого не понимает,
ни назначения его высокого,
и очень мало новых мыслей знает,
к которым властно род его стремится.

Подчас дрожу я дрожью непонятной
для счастья твоего глубокого,
что на нездешних кораблях
во многих плавает чужих морях.
Подчас хочу, что-б ты в меня вошел обратно,
в ту темноту, которая тебя вскормила.
Когда я время путаю и лица,
то я боюсь, что больше нет тебя.
Тогда читаю, что сказал евангелист:
о вечности твоей толкует каждый лист.

Я — твой отец, но сына больше сила:
он — все, чем был отец, но он и тот,
кто в том не вырос, в этом-же растет
и станет больше во стократ.

Моя молитва — не хула тебе:
я как-бы вычитал в старинных книгах,
что я — родной тебе тысячекратно.

Хочу любовь свою я дать тебе —
такую, иль сякую... ах...
да любят-ли отца?

И не уходят-ли,
как уходил ты от меня
с налетом жесткости в лице
от рук его, беспомощно пустых?

И слово блеклое его
не прячут-ли тихонько в книги те
старинные, что редко кто читает?
Не отплывают-ли, как от водораздела,
от сердца старика и к радости, и к горю?

Отец для нас, не то-же ли, что был:
года ушедшие, что кажутся чужими,
и устарелый жест, и мертвые наряды,
и руки дряблые, и голос полинявший.
И, если даже он героем был когда-то
теперь он — только желтый лист,
что падает, покуда мы растем.

Заботы все его для нас — кошмар ночной,
и голос старческий, как камень, как гранит.
Хотели-б речь его мы слушать всей душой,
но он полусловами говорит.

Шумят меж ним и нами

трагедии и драмы

с таким ожесточеньем,

что нам друг друга не понять.

Мы видим губ его движенья,

из коих падают слога

и тают, как весенние снега.

И много дальше мы ему на свете,

чем дальние края нам могут стать,

хотя сплетает нас любовь,

хотя течет в нас та-же кровь...

И лишь, когда умрет на нашей он планете,

мы видим, что и он на той планете жил.

И это — наш отец? А я, о Боже сил,

ужель могу тебя отцом я звать?

Да это значило-б: тысячекратно

расстаться мне с тобой, тебя мне потерять.

Нет, ты — мой сын, и чувством непонятым

я сразу узнаю тебя,

как люди узнают любя,

когда их сын заходит в дом,

хотя-б он мужем стал, иль даже стариком:

О, если ты глаза мои потушишь,
то все-же видеть я смогу тебя.

И, если ты мои захлопнешь уши,

услышу я тебя.

К тебе могу пойти без ног,
без уст тебя я призывать-бы мог.
Отбей мне руки, я держу тебя
горячим сердцем, как рукой;
а если сердце прищемишь,
то биться будет мозг упорный мой;
и, если ты в мой мозг пожар метнешь,
то на крови я понесу тебя.

Душа моя обнажена
перед тобою, как жена,
как Руфь, как Ноemi сноха.

Днем сторожит она стога
и золотистые снопы
и, как усерднейший слуга,
вершит тяжелые труды.
Но вечером бежит к ручью,
купается и надевает
одежду лучшую свою.

Когда-ж кругом все спит,
идет и в тишине стелит
у ног твоих постель свою.
И, если в полночь спросишь ты ее,
с глубоким простодушием ответит:
«Я — Руфь, раба твоя; крыло твое
прости ты на рабу свою».

Наследник ты...

Потом у ног твоих до самого рассвета

заснет душа моя, согрета
твоею кровью — как жена,
как Руфь она.

Наследник ты.
Сыны — наследуют,
отцы их умирают.
Сыны живут и расцветают.
Наследник ты.

И ты наследуешь всю зелень,
садов ушедших тишину
и синь распавшихся небес;
росу бесчисленную
и много летних дней, поющих солнцу,
и весны с блеском и рыданьем,
как ворох писем юной девы.

Наследуешь ты тоже осень,
и осень каждая лежит
в воспоминаниях поэтов.

И зимы — страны сирые
к тебе, как будто, тихо льнут.

Наследуешь Венецию,
Флоренцию, Казань и Рим,
собор Пизанский, лавру
у Троице-Сергия, и монастырь,

который в зарослях густых садов
под Киевом стоит
таинствен, темен.

Москву и сорок сороков,
колокола воспоминаний, —
и звоны все тебе: рога и скрипки,
и языки, и каждой песни
глубоко прозвучавший луч
блеснет алмазом на тебе.

Лишь для тебя поэты,
в себе замкнувшись собирают
богатство образов и шумов,
и вновь выходят, созревая
в сравнении образном...
и все-таки всю жизнь они
так безнадежно одиноки.

Художники свои картины
лишь для того и пишут, что-бы ты
обратно получил нетленной
природу ту, что тленной создал ты.

Становится кругом все вечным,
взгляни: созрела, как вино,
давно жена в мадонне Лизе,
не надо-б женщин больше новых:
они не могут ничего
прибавить нового к мадонне.
Те, что творят, они тебе подобны

и вечности они хотят
и камню говорят: «будь вечен»,
и это значит: «будь твоим».

И те, что любят, дань тебе несут:
они — поэты мигов мимолетных.
Устам, лишенным выраженья,
их поцелуй улыбку придает
и красоту... они восторг приносят,
и приучают постепенно к боли,
без коей взрослым стать нельзя.
Несут они страданья в смехе,
тоску, что спит... проснувшись,
излиться надо ей в слезах
на грудь чужую.

И громоздят загадку на загадку
и умирают, точно звери,
не понимая ничего, —
но будут, может быть, у них
потомки, в коих будут зреть
зеленые их жизни;
ты унаследуешь от них
любовь, которую они
друг другу слепо, как во сне, давали.

И так течет к тебе вещей избыток,
и, как фонтанов верхний водоем
без остановки воду льет
потоками распущенных волос
в сосуд нпжайший — так и тебе:
все изобилье падает в долины,

когда и мысли и предметы
выходят из своих границ.

Я — лишь один из самых малоценных,
что жизнь из кельи созерцает.

Я дальше от людей, чем от вещей,
не смею взвешивать событий.

Но я угоден лику твоему
и вижу, как на нем темно
ко мне вздымаются глаза твои.

Так не сочти за дерзость ты мою,
когда услышишь, как твержу я:
никто своею жизнью не живет,
все случаи... и люди, и дела,
и голоса, и будни, и испуги,
и много маленьких блаженств.

Переодеты с детских лет,
закутаны в нелепые личины,
растут они, зияя, точно маски
с застывшим и немым лицом.

Порой я думаю: должны-же быть
сокровищницы где-то,
где эти все существования лежат,
как панцыри, носилки, колыбели,
на складах, никогда не тронутые жизнью,

иль, как чужие одеянья, что одни
стоять не могут и должны,
соскальзывая, к стенам крепким льнуть.

И, если вечером я уходил
из тех садов, где устаю,
то знаю я: дороги все
в тот арсенал ведут,
где вещи все не жившие хранятся.
Не видно там деревьев никаких,
к земле, как будто, прилегла страна,
и как вокруг тюрьмы, висит стена
без окон на семи ее кругах.
Железные засовы в воротах
путь заграждают всем, туда идущим.
И их тяжелые ограды
рук человеческих полны.

И все-же, несмотря на то,
что каждый от себя уйти стремится,
как из тюрьмы, где он томится,
где ненависть его держала под замком,
великое мне чудо предносилось.
Я чувствую его своим всем существом.
«Жизнь всякая живется».
Но кто-ж? Хотел-бы знать я, кто
ее живет? Не вещи-ли,
которые на арфе вечером
несыгранной мелодией стоят?
Не ветер-ли, что с моря вдаль несетя?
Не ветви-ли, что знаки подают?
Цветы-ль, что источают аромат?
Аллеи-ль длинные и серые от пыли?
Не звери-ль теплые, что в лес идут?

Не птицы-ль, чей не понят нами лет?
Кто эту жизнь живет?
О, Бог, живешь ее не ты-ли?

Ты — тот старик, чьи кудри сажей
покрыты, сожжены стократ,
ты — несказанный и великий,
в руках держащий тяжкий млат;
кузнец на наковальне вечной,
ты — песня лет и их возврат.

Ты — тот, кто жив без воскресенья,
и над работою горит,
кто мог-бы умереть над саблей,
что не остра и не блестит.

Когда и мельница не мелет,
когда у нас стоит пила,
когда мы пьяны и ленивы,
лишь твой неутомный молот
звонит во все колокола.

Ты — совершенный. Ты — тот мастер,
что не учился никогда.
Ты — незнакомый. Ты — заезжий,
и слухи о тебе всегда
ползут то шопотом, то смело
по деревням и городам.

Несутся вести, что ты — есть.
Ползут сомненья: есть-ли ты?
Не верит в огненную весть
ленивый раб своей мечты:
он собственным огням не верит
и хочет,
что-б стали горы кровоточить,
а до того он и в тебя не верит.
Но ты свой лик склоняешь.
Ты мог-бы горным их вершинам
и жилы вскрыть в знак страшного суда...
Но равнодушно ты зриаешь
на их долины.

Не хочешь спорить никогда,
хоть цену знаешь всем обманам.
Не ищешь света ты любви великой
и равнодушен ты к христьянам.
Ты равнодушен к ставящим вопросы.
Зриаешь кротким ликом
на тех, кто что-нибудь приносит.

Все, кто ищут тебя,
искушают тебя.
А те, кто находят тебя,
пытаются к образу, жесту
тебя привязать.

Я-ж хочу лишь постигнуть тебя,
как тебя постигает земля.

Моим созревaniem
царство твое
созревает.

Не хочу никакого тщеславия,
не пытаюсь тебя доказать.
Я знаю, что время
иначе зовется, чем ты.

Не делай чудес мне в угоду,
оправдай лишь законы свои,
что от рода ушедшего к новому роду
все видней и яснее становятся.

Когда роняю из окна
предмет ничтожнейший и бранный,
с какою страстью сокровенной,
как ветер с моря злой и пенный,
катится тяжести волна
и мчит предмет к ядру вселенной.

Но все кругом охранено
добром, готовым к воскресенью:
и каждый камень, и растение,
ребенок каждый в тьме ночной.
Лишь мы в спесивом самомнении
из цепи смутных представлений
в пустое место держим путь

какой-то снящейся свободы.
А не сулит-ли больше благ —
отдаться Бога и природы
разумным силам... и расти,
как дерево под неба своды.
Не в дальние-ли лучше колени
себя покорно, молчаливо
включить, чем сложно заплести
узлы и тонкие извивы?

Кто исключает — тих и строг —
себя из всяческого круга, —
тот безымянно одинок.
Учиться должен без досуга,
вникать в значенье всех вещей;
все сызна — и чист и тонок —
начать, как маленький ребенок.

Все потому, что часть людей,
сердцами посвященных Богу,
его покинуть не могли.
Он снова должен понемногу
учиться падать до земли.

Тот, кто дерзал небесных птиц
искусный превзойти полет,
тот тяжести закон поймет
и будет кротко падать ниц.

И ангелы уж больше не летают.
Похожие на птиц тяжелых, серафимы

расположились вокруг и размышляют,
как птиц последыши, иль как пингвины,
грустят они и слезы проливают.

Ты думаешь: смиренье? Лица,
тебя узнавши, тихо никнут.

Так вечером идут поэты
в уединенные аллеи,
крестьяне так стоят у гроба,
когда ребенок смертью взят!...
что ни случится, все равно
чрезмерное предшествует ему.

Кто в первый раз тебя заметит,
тому сосед мешает, и часами
готов согбенным он итти к твоим следам,
нагруженный и постаревший.
Лишь позже ищет он природы
и ловит ветер шепчущий вдали;
тебя тогда он слышит всюду,
воспетого хоралом звезд.
Нигде тебя забыть не может он,
Все — только плащ твой для него.

Ты пов ему, и добр, и близок,
и так прекрасен, как те рейды,
что тихо на большой реке
свершает он в бесшумных кораблях.
Вдали страна, носима ветром,
громادным небесам обречена,

во власти тех лесов дремучих,
что так-же древни, как земля.
И деревушки, промелькнувши,
исчезнут вновь, как тихий звон,
и как вчера, и как сегодня...
Но в беге этого потока
вновь вырастают города
и движутся на взмахах мощных крыл
бесшумным кораблям навстречу.

А иногда корабль пристанет
к местам уединенно-тихим,
(вдали от городов и сел),
что ждут чего-то на волнах, —
ждут тех, кто потерял отчизну...
Для тех стоят кибитки там,
перед каждой — тройка лошадей,
что мчится к вечеру без передышки
по безысходному пути.

Последний дом стоит в той деревушке,
так одинок, как мира дом последний.

Дорога (удержать ее не в мочь)
так медленно ползет все дальше в ночь...

Та деревушка — только переход
меж далей двух. Полна предчувствий и робка,
к избушкам — путь, взамен мостка.

Но, если кто решится на исход,
ее покинув, долго он блуждает
и может быть, в дороге умирает.

Бывает, что один за ужином встает,
выходит и идет... идет, идет, идет,
лишь потому, что на востоке церковь
светит.

Как мертвого, его благословляют дети.

Другой, что дома у себя встречает
печальных дней своих конец,
там продолжает жить и пребывает
в столе, в стакане... до того, что дети
уходят, чтоб искать на свете
ту церковь, что забыл отец.

Безумье — ночи страж,
что никогда не спит;
у часа каждого, смеясь, оно стоит,
и ищет имена для ночи каждой,
и называет их: семь, десять, двадцать восемь...
В руке-же треугольник носит.
Когда-ж рука его объята дрожью,
то ударяет в рога край,
в который уж давно
оно трубить не может.
Доносится собак тоскливый лай...

и песню ту оно
по всем домам несет.
Та ночь спокойна для детей:
их сторожит безумье на часах.
зато срываются все псы с цепей
и бегают без устали в домах,
дрожат, когда безумье ходит у ворот,
боясь, что в дом оно пойдет.

О тех святых ты знаешь-ли, Господь?
Казались им и запертые кельи
монастырей уединенных
столь близкими и к болтовне и к смеху,
что в землю зарывались глубоко.

Немного воздуха, как светоч, выдыхал
в своей норе отшельник каждый,
забыв свой возраст и лицо.
Он жил, как дом живет без окон,
и умирал, как-будто мертвым был давно.
Читали редко, тлело все,
как будто в книгу каждую заполз мороз.

И, как висела ряса на костях,
так смысл висел на каждом слове их.
Друг с другом никогда не говорили,
когда встречались в мрачных переходах.
Висели пряди длинных их волос,
и не один не знал про своего соседа,
не умер-ли он стоя.

Но иногда сходились в круглый храм,
где масла чистого полны лампы,
у врат золотых, как у золотых садов,
и недоверчиво в свои смотрели сны,
шурша тихонько бородами.

Ни днем, ни ночью не меняясь,
их жизнь была долга,
как много тысяч лет.
Как будто-бы волной они примяты были
и в лоно матерей возвращены.
Согбенные, с большими головами,
и малыми руками,
зародышам подобны,
они сидели. ничего не ели,
как будто пищей им была земля,
что чернотой своей окутывала их.
Теперь паломникам показывают их,

что из степей и городов валом
валят к монастырю.
Уж триста лет лежат они,
но их тела никак истлеть не могут,
и тьма сгущается, как свет коптящий,
на длинных их останках, что лежат,
под саванами тайно сохраняясь, —
и нерасправленный изгиб их рук
стоит горой на их груди.

Великий, старый князь высот,
ужели этим погребенным

забыл послать ты смерть,
которая-б с землей сравняла их,
лишь потому, что все они при жизни
уже нырнули в землю глубоко?
Ужель похожие на умерших при жизни
к нетленности всего на свете ближе?
Ужели пережить вневременную смерть
должна большая жизнь твоих мощей?

Предначертаниям твоим они нужны-ли?
Не сохраняешь-ли нетленные сосуды,
ты, мерам всем безмерность,
лишь для того, что-б их когда-нибудь
своей наполнить кровью?

Ты — даль грядущего, великая заря,
что светится по вечности равнинам.
Ты — дева, ты — роса... В предутрии горя,
ночь всех времен зовешь ты криком петушиным.
В тебе: и смерть, и мать, и всем чужой мужчина...

Ты — скользкий образ, что всегда из рока,
без криков радости, без слез горючих,
меняя лик маячит одиноко,
неописуемый, как лес дремучий.

Ты — содержание, смысл вещей глубокий,
что прячет лик последний бытия,
по разному являясь издалека —
корабль — земле, а кораблю — земля.

Ты — монастырь «К Зажившей Раве»: тут тридцать два стариннейших собора и пятьдесят церквей, построенных из янтаря и лучшего опала. На каждой вещи в том подворьи лежит строфа созвучья твоего. Там начинаются могучие врата.

Живут монахини в строеных длинных, сестер тех черных есть семьсот и девять. Одна подчас идет к колодцу, как вкопана стоит другая, а третья... там... в закатном солнце проходит стройная — в аллеях молчаливых.

Но большинства совсем не видно; они живут в молчании домов, как неизве стные напевы живут в больной груди старинной скрипки.

Вокруг церквей, кругом, обсажены тоскующим жасмином, стоят могилы, что о свете, тихонько шепчут, словно камни, о свете том, которого уж нет, хотя он бьется в самый монастырь, день суетный, в безделье погруженный, готовый и к усладе и лукавству.

Тот свет ушел: зане, ты — есть. Еще течет он, как игра свечей

над безучастным годом.
И все-ж тебе, и вечеру, а иногда
поэтам вдруг приходят откровенья
вещей туманных в беглых ликах.

Цари земные старцев всех старей:
наследники не подрастают,
детьми сыны их умирают,
По прихоти их бледных дочерей
насилю отданы их троны —
больные царские короны.
Монеты чернь из них кует, кладет в суму.
Владыка-ж мира — века сын —
из них кует ряды машин,
что служат с грохотом ему.
Но счастья с ними вет.
Руду тоска о родине все мучит
и рвется прочь из всех колес, из всех монет,
что малой жизни учат.
И из заводов и из касс
руда назад вернется в жилы
отверстых гор, что в тот-же час
закроются за нею, как могилы.

Все будет вновь великим и могучим:
земля равнинна, воды в волнах,
деревья — до неба, ничтожны стены;
в долинах — будет крепкий и многообразный
народ из пастухов и землеробов.

И никаких церквей, что Бога зажимают,
как беглеца, чтобы потом его
оплакивать, как пленного большого зверя.
Дома откроются для всех стучащих,
и будет чувство бесконечной жертвы
во всяком действии... в тебе, во мне...

И никакого ожидания
потусторонней жизни,
и никакой оглядки за черту,
но лишь тоска — стремление...
и не уваливать от смерти...
и что-б не быть в ее руках
лишь незрелым новичком,
служебно упражняться на земном.

И будешь тоже ты велик,
и более велик, чем может охватить
живущий в наши дни,
необычайнее и сверхестественней
и много старше, чем старик глубокий.

И будут чувствовать тебя, как аромат
от близости неведомого сада,
и, как больной — свои любимейшие вещи,
тебя полюбят нежно люди,
исполнены предчувствием святым.

Не будет и молитв соборных
и толп вокруг наполненных церквей.

Ты — не в собрании, и тот,
кто чувствует тебя и рад тебе,
как-бы единственный на свете будет:
и изгнанный, и призванный,
и собранный, и расточенный сразу, —
с улыбкою, и все-ж в полуслезях,
он будет мал, как дом,
и, как держава, мощен.

И нету никогда в домах покоя... разве
умрет там кто-нибудь, и все ушли за гробом,
иль вдруг, по странному веленью
возьмет хозяин посох странника,
что-б вдаль итти, поднявши воротник,
справляясь часто о путях туда,
где, верит он, ты должен ждать его.

И никогда дороги не пустеют
от странников, стремящихся к тебе,
как к розе, что цветет лишь раз в тысячелетье...
Народ все темный, безимянный:
лишь доплетутся до тебя — уже устанут.

Но я их шествие видал
и верю с той поры, что ветры воют
из их плащей, когда идут они,
что затихает буря в тот-же миг,
как странники прилягут отдохнуть:
так подвиг их ходьбы велик!

Я-б тоже так хотел к тебе итти,
сбирая подаянья по дворам,
где неохотно кормят бедных.
И, если будет много путанных путей,
пристану спутником к старейшим.
Примкну к согбенным дряхлым старцам
и с ними я пойду. Я, как во сне их вижу:
колена их из волн бород предлинных
всплывают, вроде островов пустынных,
без кустика, без деревца.

Мы обгоняли странников слепых,
что мальчиками их смотрели, как глазами,
и пьющих у реки уставших женщин,
и много, много женщин на сносях...

И странной близостью повеяло от всех —
как будто родственником был мужчинам,
как будто женщины во мне узнали друга.
И шли собаки за толпой я сам их видел.

О, Бог, хотел-бы я меж странниками быть,
искать тебя повсюду вместе с ними,
твоим осколком тяжким быть,
о, сад с аллеями живыми!

Когда, иду один, как есть, —
заметит кто? Кто видит, что к тебе иду?
кого я увлеку? И разнесется-ль весть
среди людей? Кого я обращу к тебе?

Как будто ничего не происходит,
они смеются дальше, и я рад тогда,
что так иду... так, как я есть; ведь никогда
никто из тех смеющихся ко мне не ходит,
и видеть он меня не сможет никогда.

Ты днем — реченная легенда,
чуть слышно обтекающая мир.
Ты — тишина, что после звона
объемлет медленно эфир.

Чем больше день в своих движеньях,
слабея, к вечеру идет,
тем больше ты, мой Бог, чье царство,
как дым, над крышами встает.

Вот утро странников. От жестких лож,
к которым каждый, как отравлен, припадал,
встает при первом перезвоне
народ худых, убогих богомольцев,
сказителей заутренних молитв,
лучами утреннего солнца опаленных:
длиннобородые сгибаются мужчины,
ребята важно вылезают из овчины,
и в шубах, тяжкие от долгого молчанья,
ряд смуглых женщин из Ташкента и Тифлиса.
Христьяне все с повадками ислама
толпятся у колодцев, держат руки,
как чаши плоские, как вещи,
куда струя вбегаёт, как душа.

Они склоняются туда лицом и пьют,
срывают платье левою рукой,
и держат воду на груди своей,
как будто-бы вода есть то лицо,
что плачет и твердит о горе на земле.

А горе это здесь стоит кругом
с глазами тусклыми; не знаешь ты,
ни кто они, ни кем до странствий были:
слуга, мужик, подчас купец с достатком,
пронырливый монах, что долго здесь не будет,
подстерегающие искушенья вору,
и уличные девки, что сидят
на корточках, с заботой на лице,
блуждающий в лесах безумец: —
все, как князя, что в глубине печали
отбросили все лишнее с себя.
Как мудрецы, что многое узнали,
и как избранники, побывшие в пустыне;
и чрез чужих зверей их Бог кормил.
И одинокие, что по долинам шли,
со множеством ветров на загоревших лицах,
одной тоской и страхом одержимы;
но та тоска их чудно возвышает.
От будней отрешась, но включены
в орган громадный, в пенье хоровое,
коленипоклоненные,
они, как будто-бы идут наверх.

Они, как флаги и картины, что давно
запрятаны в тяжелых сундуках;

теперь вывешиваются опять
они медлительно наружу.

И кое-кто стоит и смотрит на избу,
где заболевшие паломники живут;
ведь только-что монах оттуда вышел
растрепанный, в потертой рясе,
с лицом помятым от следов болезни,
и темными тенями возле глаз
от духов злых.

Поклон отвесил поясной,
как-бы сломался пополам;
и сложенный из двух кусков упал, на землю,
которая, казалось, точно крик
повисла на его устах, как будто
она растущим жестом рук его была.

И медленно прошло его паденье мимо.
Он полетел вперед, как-бы почувяв крылья,
И чувство облегчения его
склонило к вере, что он птицей стал.
И он повис меж рук своих,
как криво взвившаяся марионетка;
и верил, что высоко он парит,
и что земля давно, как низкая долина,
вдали катится под его ногами.
И недоверчиво увидел вдруг себя
спустившимся на чуждые владенья
и на зеленое морское дно
своих мучений.

И был он рыбой стройной серебристой
и тихо плыл в воде глубокой,
и видел он медуз, висящих на кораллах,
и волосы русалки, по которым,
вода струилась, будто гребень.
Потом пришел на сушу. Женихом
покойницы какой-то избран был,
лишь для того, что-б ни одна девица,
чужой и непомолвленной,
вступить-бы не могла на райские луга.

Он следовал за ней, прилаживал свой шаг
и танцевал вокруг (она всегда в середине),
и танцевали руки вокруг него.
Потом насторожил свой слух. Как будто третий
тихонько в их игру вступил
и, кажется, в их танец и не верил.
Тут он познал: теперь молиться должен ты,
уже приходит тот, кто, как венец вселенной,
себя ссудил пророкам. Держим мы того,
о ком мы каждый день молились,
мы пожинаем то, что сеяли однажды,
и возвращаемся с усталыми серпами,
рядами длинными, как звучные напевы.

И он, растроганный, земной поклон отвесил,
но пребывал старик, как будто-б спал он,
и не видал того, хоть глаз и был открыт.

И изогнулся он в такую глубину
что пробежала дрожь по членам искривленным
Но не заметил ничего старик.

Тогда за волосы монах себя схватил,
и биться стал о ствол, как бьют одежду.
Старик-же все не обращал вниманья.
Тогда монах себя в свои-же руки взял
(меч правосудия обычно так берут),
рубил плеча, рубил, изранил стены,
и в бездну, наконец, толкнул себя
в припадке дикого ожесточенья.
Старик смотрел без всякого участия.

Тогда сорвал монах одежду, как кору,
и старику поднес коленопреклоненный.

И что-ж, гляди: пришел он, как к ребенку,
промолвил нежно: «ты, ты знаешь-ли, кто я?»

Он это знал и лег покорно старику,
как скрипка, он под подбородок.

Вот зреет уж пурпурный барбарис,
стареющие астры дышат слабо.
Кто не богат теперь, покамест лето благо,
тот будет вечно, вечно ждать
и никогда собой не будет обладать.
Тот, кто теперь не может вознестись,
закрыв глаза свои, в уверенности твердой,
что много ликов в нем прихода ночи ждут,
что-б в темноте ее воспрянуть гордо, —
тот — в прошлом, тот — старик: тому не место
тут.

К тому ничто не льнет, и день к нему не ходит,
все лжет ему, что с ним ни происходит.
И так-же ты, мой Бог, как камень ты ему,
что повседневно тянет в глубину.

Не должен ты бояться, Боже.
Пусть говорят они: «моя»
всякой вещи терпеливой.
Они, как ветер, что ветвей касаясь,
все шепчет: «дерево мое».

Они почти не замечают,
как все, что тронет их рука,
пылает так, что и за самый край
они держать-бы вещи не могли,
не обжигаясь.

Они «мое» твердят, как тот,
кто любит князя другом называть
в беседе с бедняком, когда тот князь
велик и знатен и живет далеко.
И говорят они «мое» чужим их стенам,
не зная вовсе, кто их дома господин.
И говорят «мое», владеньем называя,
предметы те, что замыкаются,
лишь только их владельцы приближаются.
Так говорит «мой» безвкусный шарлатан,
пожалуй, молниям и солнцу.
Так говорят они: «моя жена и жизнь,
мой пес, ребенок мой», при этом и не знают,

что все: жена, и жизнь, ребенок и собака — чужие образы, в которые они протянутой рукой уткнулись слепо. Уверенность — удел одних великих: они тоскуют о другом. Все-ж другие и слушать не хотят, что их убогий путь не связан ни с каким предметом, и что отторгнуты от их имуществ, непризнанные собственностью их, они женой не больше обладают, чем розой, чья чужая жизнь для всех.

Так не теряй-же, Боже, равновесья: ведь даже тот, кто вправду Бога любит, и кто твой образ узнает во тьме, когда, как светоч, он прильнет к дыханью твоему, — тобой не обладает. И даже, если ночью кто-нибудь тебя настолько осязает, что должен ты войти в его молитву, ты — только гость, что снова удалится.

Кто может удержать тебя, о Бог? Всегда ты — только твой, не потревоженный ничьей рукой владельца мнимого, как незрелый виноград, что каждый день все слаще становясь, лишь самому себе принадлежит.

О, клад, что в глубокие ночи копал я, о ты!
все избытки, которые в жизни я видел—
лишь — ничтожество, отблеск твоей красоты,
никогда не случившейся в истинном виде.

Но путь к тебе страшно далек,
и не хожен давно... и вьюгой его замело.
И ты — одиночество, ты — одиночек;
ты — сердце, что к дальним долинам ушло.

И руки мои, от копанья кровавые,
к ветру открытыми я подымаю,
и там разветвляются руки, как дерево,
и ими тебя из простора вбираю,
как будто-б однажды рассыпался там
ты в нетерпеливом движеньи,
и падаешь ныне, о мир в распыленьи,
из звезд отдаленных на землю ты к нам,
нежно, как дождик весенний.

Книга третья.

КНИГА О БЕДНОСТИ И СМЕРТИ.

(1903)

Чрез горы тяжкие, быть может, я иду —
как одинокая руда по жестким жилам.
Я так глубок подчас, но дна и не найду,
и дали никакой: все близко стало,
и близкое все в камень обратилось.

Про боль я до сих пор знал очень мало,
и сделал маленьким огромный мрак меня.
Но, если это ты, — нажми, вонзи свой лом,
так, что-б на мне вся длань легла твоя,
а я -б прильнул к тебе со всем моим добром.

Ты — та из гор, которая осталась, —
без хижин — склон, без имени вершина.
Ты — вечный снег, в котором звезды зябнут.
Ты — дивный сад, заросший резедой,
где ароматы всей земли текут.
И ты — всех гор уста и минарет.
(Вечерний звон с него не раздаётся).

Иду-ли я в тебе? Лежу-ль в базальте,
как никогда не найденный металл?
Я в страхе чую складки скал твоих,
твою я твердость чувствую повсюду.

Иль это страх, в котором пребываю,
глубокий этот страх столиц чрезмерных,
куда меня ты погрузил до шеи?
О, если-б рассказать тебе, как нужно,
о том, как в них нелепо и безумно,

то встал-бы ты, гроза первоначала,
и разметал-бы их, как шелуху...

И хочешь ты меня, скажи мне прямо,
не господин моим устам я больше:
они зажить хотели-б, словно рана;
и руки по бокам ,как две собаки,
что недостойны никакого зова.
О, Бог! Ты гнешь меня к чужому часу!

Дай мне быть стражем твоих далей
и часовым поставь у гор.
Дай в одинокие печали
твоих морей мне кинуть взор;
дай проводить твои мне реки
сквозь крик обоих берегов
далеко в звонкой ночи зов.

Пошли в пустыни, где от века
лишь ветры дальние шумят,
и где обители, как платья,
вкруг жизней нежитых стоят.
Там к странникам хочу пристать я;
от ликов их и голосов
что-б ложью дня не отвлекаться,
к слепому старцу привязаться
и вдаль итти за ним без слов
путем неведомым доселе,
но, может быть, все к той-же цели.

Большие города, мой Бог,
потеряны, растворены.
Столицы пламени полны...
Ползет их малых дней поток,
никто их горя не услышит.

Живут в них люди тяжко, скверно,
в каморках, под ярмом заботы,
дрожат, как зверь в часы охоты,
не зная, что вблизи так мерно
твоя земля не спит и дышет.

Здесь дети в мраке неизбывном
на подоконниках растут,
не зная, что цветы зовут
их к ветру, дню и далям дивным.
Ребенок их — всегда дитя печали.

Здесь девы расцветают незнакомцу,
о детских днях им вечно тосковать
и нет того, кто чудился в оконце,
и отчего сердца их так пылали...
и замыкались, дрожа ,опять.

И где-то в спальнях занавешенных
разочарованная мать,
за днями стонов неутешенных
должна медлительно вкушать
ночей безвольное мерцанье
и годы без борьбы и сил.
А в жуткой тьме другого зданья,

маня спокойствием могил,
одры их смертные стоят...
И долго, долго в них лежат,
и трудно дух свой испускают,
и умирают, как в цепях,
и безнадежно догорают,
как нищенки последний страх.

И люди там живут и бледно расцветают
и с удивленьем смерть свою встречают
в миру тяжелом... Ах, никто не видит ран
открытой, широко зияющей гримасы,
в которую подчас среди ночи безымянной
вдруг искажается улыбка нежной расы.

Они бредут вокруг, унижены усильем
служить бездушно всем бессмысленным вещам,
и блекнут платья их под солнцем и под пылью,
и рано старость льнет к красивым их рукам.

Толпа-ж толкается, их старость не щадя;
движения людей медлительны и слабы —
лишь псы пугливые, у коих нет жилья,
тихонько им вослед вдоль каменной ограды
плетутся, не прося ни ласки, ни услады.

И отданы они мучениям темницы,
испуганы часов ударом каждый раз
и, одинокие, бредут вокруг больницы
и боязливо ждут: когда приема час?

Там смерть, но смерть не та, что дивно в годы
детства
ласкала их всегда лучем своих приветствий, —
нет, маленькая смерть, как там, в миру они
ее себе всегда бесцветно представляют.
Их собственная смерть, зеленая, в тени,
без сладости висит все ночи и все дни,
как жесткий плод, что в них вовек не созревает.

Господь, дай каждому, кто на земле живет,
ты собственную смерть в души его саду,
то умиранье, что из жизни той идет,
где он познал любовь, и чувство, и нужду.

Зане: мы — только шелуха и листья.
Большая-ж смерть, что человек несет,
в себе самом, и есть великий плод,
вокруг которого весь мир кружится.

И для нее -то девы зачинают,
как дерево из лютни приходя,
и юноши мужьями быть мечтают,
и женщины, девичий рост блюдя,
наперсницами страхов тех бываю,
которых, кроме них, никто не знает.

И ради них увиденное раз,
как вечное, пребудет среди нас,-
хотя-б давным давно

уже прошло оно, —
И каждый, кто лепил иль создавал,
был целым миром вокруг того плода,
и замерзал, и таял вновь,
обветривал его и озарял.
В тот плод вошла вся теплота,
дыханье нежной груди,
и белый жар сердец, закал мозгов...
Но ангелы твои, что пролетают,
как стан птиц, повсюду наблюдают,
что зелены еще плоды и люди.

Господь, беднее мы, чем бедный зверь,
что собственною смертью жизнь кончает,
хотя-б ослепшим; а мы теперь
неумершие ходим. Ты — знаньем овладевший —
дай к тем кустам жизнь нашу привязать,
к которой раньше май приходит.

Лишь оттого нам тяжело умирать,
что вовсе то — не наша смерть —, чужая,
чья-то, что кругом случайно бродит
и, наконец, берет с собой и нас,
в которых смерть не зреет никакая:
Гроза идет, что-б всех нас отмести.
В твоём саду стоим мы ежегодно,
что-б, как деревья, сладкий смерти плод нести;
но мы стареем в жатвы час;
как женщины, которых много били,
мы замкнуты, и худы, и бесплодны,

или...

Быть может: я — высокомерен, я — неправ.
Дерева лучше? Мы — лишь женский пол и лоно,
что слишком много обещали?

Мы с вечностью так долго отдыхали,
что на кровать родильницы попав,
лишь недоносок нашей смерти вы родили,
печальный и кривой — зародыш незаконный,
который ручками глаза свои закрыл,
как будто страшным чем-нибудь испуган,
и выглядит зародыш тот уродом,
на лбу его большой безумный страх застыл,
пред всем, чего не знал, пред неизвестным кругом.
И все кончаем мы таким-же родом,
как девки улицы, от истечений,
от схваток родовых и кесаря сечений.

Господь, создай кого-нибудь великим
и одари его прекрасным ликом,
и сотвори прекраснейшее лоно
ему для жизни. Стыд его построй,
как дверь к какой-то белокурой роще,
вокруг которой высятся колонны,
и чрез звено невыразимой мощи
ты протяни семян военный строй,
семян, что собираются в полях,
и воинов на белых лошадях.
Дай ночь, чтоб человек постигнуть мог
глубины те, где люди не ступали.
Дай ночь, чтоб-б вещи расцветали,

что-б каждая сверкала, как цветок
и излучала-б аромат.

Дай ночь, благоуханнее сирени,
воздушнее зефиров дуновений
и торжествующей, как Иосафат.
Дай срок ему для долгого ношенья,
распширь его в растущем облаченьи,
и подари ему звезды уединенье,
что-б глаз ничьих восторг и удивленье
не стали-б светлый лик его бесславить,
когда черты изменятся, расплавясь.

И чистой пищей обнови, росой,
неубиенною едой.

Дай жизнь тишайшую, как литургия,
и теплую, как вздох с полей;
и сделай, что-б дни детства дорогие
опять изведал он скорей;
даль безотчетных чудных дней печальных
и сказок бесконечный темный круг,
предчувствий полных, лет его начальных.

И ждать вели, пока раздастся звук
и час пробьет, о коем я твержу,
когда родит он смерть — ту госпожу,
что, как огромный сад, стоит одна,
из дали, как-бы, соткана.

Сверши над нами этот знак последний,
в венце могущества откройся нам
И дай теперь за муками родов

Святое материнство человека.
Исполни ты, могучий благодетель,
Не Богородицы прекрасный сон,—
Направь на важное, на смертородца.
И проведи нас через руки тех,
что гонятся за ним... туда.. к нему.

Смотри: я вижу их, врагов его,
они не больше ведь, чем ложь времен.
и встанет он в насмешников стране,
и назовут мечтателем его:
лишь потому, что тот ,кто бодрствует,
всегда — мечтатель, хмелем упоенный.

Оснуй его на милости своей,
посей его в своем старинном блеске;
мне-ж дай быть плясуном того ковчега,
устаи этой новой мессиады, —
глашатаем, крестителем поставь.

Его хочу овеять славой новой,
как трубачи пред войском на просторе
шагают с медным блеском впереди,
хочу кричать и перед ним итти.
Пусть кровь моя течет шумнее моря,
пусть слаще меда будет литься слово,
пусть жаждут все его, но пусть оно
не лжет им, не дурманит, как вино.

И по ночам, когда кругом мертво,

весной, когда немногие со мной
остались вкруг ложа моего,
хочу цвести поющею струной
и замирать, как дальняя сзирель,
когда прозрачен день и воздух чист,
как запоздалый северный апрель,
болящийся за каждый юный лист.

Рос голос мой на обе стороны, —
и ароматом стал и светлым криком:
один готовит даль иной страны,
другой-же должен быть духовным ликом
и святостью, и ангелом немым
бессмертным одиночествам моим.

Обоим голосам итти за мной вели,
когда рассыплешь ты меня в пыли,
в столицу, в страх глухой черты.
Я с ними быть хочу во гневе всех времен,
и пусть тебе постель стелит мой звон
повсюду, где того захочешь ты.

Большие города — виденья, навожденья:
обманывают день, ребенка, зверя, ночь.
Лжет их молчанье нам в часы оцепененья
не меньше, чем их блеск, чем шумы их и гамы.
И лгут они тебе покорными вещами.

Вовек не может в них свершиться ничего
из дали бытия, безудержно идущей,

что движется вокруг тебя, грядущий.
Средь улиц падает полет ветров твоих
и в них по новому трепещет слаб и тих.

А ветры мчатся взад, вперед; их шумы
раздражены, возбуждены, угрюмы..
Подчас зефиром, а подчас бореем
стремится ветер к клумбам и аллеям.

Сады-же те построены царями,
что наслаждались недолго в них
с молодыми женами... и прибавляли
цветы к чудесным звукам смеха их.
Усталым паркам жены спать мешали,
как ветерки, шептались в кустах,
струились в мягких плюшах и мехах,
и бахрома халатиков и шалей
на гравии шумела, как ручей.

Теперь за ними все сады шагают,
и тихо, не подняв своих очей,
то в гаммы светлые себя вплетают
чужих, далеких весен, то горят
медлительно осенними огнями
на бесконечной ржавчине суков,
что к черни бронзовых оград
припаяны, как будто монограммы,
и как-бы сотканы из снов.

И сквозь сады блестит дворец царей,

(как небо бледное, как световые блики)
и в тяжесть вялую картинных галлерей
он погружен, как в образ многоликий, —
самоотвержен, чужд пирам и молчалив,
как гость, стыдлив и терпелив.

Потом увидел я дворцы живые.
Они кичились вроде птиц красивых,
что скверным голосом поют.
Богаты многие и вверх хотят подняться,
но богачи... совсем и не богаты.

Не как вожди пастушеских племен,
что крыли тучами зеленые равнины
когда паслись стада овец пушистых
по ним, как утренние облака.
Когда-же делали они привал,
когда приказ гремел сквозь дым и ночь,
казалось всем, что новая душа
на плоских их кочевьях просыпалась—
и очертанья их верблюдов гордых
кругом мерцали, словно роскошь гор.

И запах очагов и жареного мяса
стелился за кочевьем десять дней,
был тепел и тяжел, не поддавался ветру
И будто в свадебном сияющем чертоге
всю ночь потоки льются ценных вин,
так молоко ослиц у них текло.

И не как шейхи тех племен пустынных,
что спали по ночам на выцветших коврах,
зато любимым их кобылам
из серебра заказывали гребни
и украшали их огнем рубинов.

И не как те князя, что золото
ценили лишь тогда,
когда оно давало аромат,
и чей надменный жизни путь был связан
с миндальным маслом, амброй и сандалом.

И не как белый царь востока,
кто божьей милостью, богатством
и правом жизни одарен...
но с опечаленным морщинистым лицом
лежал с растрепанными волосами
на каменном полу часовни
и плакал, убиваясь о том,
что ни один из светлых райских дней
не предназначен для него.

И не как первые из тех богатых
торговых гаваней старинных,
старавшихся природу превзойти
картинами, которым равных нет,
а самые картины те затмить
своей эпохи блеском несравненным.
И были вотканы и вложены они
в их города гербы, в одежду золотую,
как издавна засушенный цветок...
и чуть дышали белыми висками.

То были богачи, что заставляли жизнь
быть бесконечно дальней, теплой и тяжелой,
но дни тех богачей давно прошли,
никто их у тебя обратно не попросит...
Лишь бедных — бедными вновь сделай, наконец.

Они не бедны, нет. Они лишь не богаты,
они без воли и без света и без мысли;
как голые стволы без цвета, без листов
под знаком смерти, страха и утраты;
на них летит вся пыль из городов,
и нечистоты все на них повисли.
И прокляты они, как оспенное ложе,
и выброшены, как осколки, как скелеты,
как прошлогодний календарь в забытой келье...
и все-ж:
когда-б земля твоя имела-б эти беды,
то нанизала-б их на ожерелье,
и в густо-розовый туман
носила-б их, как талисман.
Зане: они почище всех камней,
как зверь слепой в момент его рожденья,
просты душой, и о тебе все мысли их,
и искренне тебе свои приносят дни,
и нет у них желаний никаких, —
лишь оставаться бедными, как есть,
хотели-бы они.

Ведь бедность — их великий блеск...

Ты — бедный, неимущий ты,
ты — неприкаянный, забытый камень.
Ты — прокаженный, ты — изгнанник
с трещоткою у городской черты.
И ни на что ты не имеешь права;
как ветер, неимущий — ты,
и наготу едва прикрыла слава...
И будничное платье сиротки
великолепней, чем твой образ кроткий,
как собственность блестящей красоты.
Ты беден, как зародыша дерзание
в девице, что его хотела-б скрыть...
и чресла жмет свои, что-б задушить
беременности первое дыхание.

Ты беден, как весенний дождь, что свыше
блаженно падает на городские крыши;
ты — как желанье узников невольных,
отрезанных от мира в камерах острожных;
ты — как больные, что уже довольны,
ложась иначе.

Как в колеях цветы,
печален, беден ты в ветрах дорожных,
и, как рука, в которую мы плачем,
так беден ты...

Что значат рядом мерзнущие птицы,
и псы, что много дней не жрали?
В слезах самозабвенья наши лица?
Что значат долгие печали
зверей плененных и забытых?

Что нищие в ночлежке без дверей?
И те, чье ложе под открытым небом
в сравнении с тобой, с нуждой твоей?
Они — лишь камешки, не жернова,
хотя и мелют малость хлеба.
Ты — глубочайший из насытых,

ты — нищий, чья седая голова
все прячется в сухих руках;
ты — бедности великой роза,
ты — вечная метаморфоза
червонцев в солнечных лучах.

Ты — тихий, ты — бездомный, ты — в пути,
ты — тот, кто в мир уже не мог войти:
тяжел, огромен для нужды,
для скудных целей наших дней...
и арфой воешь в буре ты.

Та арфа губит всех, играющих на ней.

О ты, кто знает все, и чьи большие знания
от бедности одной, от нищеты рождались,
о сделай так, что-б бедные не прогонялись,
не втаптывались в грязь, в досаду и страданья.

У всех других людей есть ловкость «сорванцов»,
а эти — как семья изысканных цветов:
восходят от корней и пахнут, как мелиссы;
нежны, как кружево, их лепестки и листья.

Бальзам травы, обтесыванье скал —
вот их любовь, вот назначенье их...
И так идут они по лугу глаз твоих,
как руки бегают по струнам арф златых.

И руки их, как руки женщин стройны
и к материнствам шествуют каким-то;
резвы, как птицы, вьющие гнездо,
теплы на ощупь и доверчиво спокойны,
и, как сосуд, должны наполниться напитком.

И х рот, как рот на мраморной фигуре,
что никогда не целовал,
и не вздохнул, не прозвучал,
и все-ж воспринял все в натуре
из жизни прошлой мудрых струй.
И так его оформлен поцелуй,
И вздох его, и звук,
и так рельефен и скульптурен,
как будто знает жизнь и свет —
меж тем он — только дальний круг,
лишь — образ он, лишь — камень и предмет.

И голос их приходит издалека.
Он родился, как первый луч востока,
и был в лесах, что сумрачно глядели,
по скалам, по горам шел долгие недели,
и с Даниилом он во сне поспорил,
и море видел он, и говорил про море.

Когда-ж они тревожно спят,
то как-бы вновь возвращены,
как будто отданы назад
всему, что их дает народам,
и розданы, как хлеб, в голодный год
часам полночным, солнечным восходам.
Они, как дождь, что неустанно льет
над юным плодородьем некой тьмы.
От их имен не видно ничего
на ложе их, к зачатию готовом:
в предчувствии какой-то жизни новой,
себя стелит оно и ждет,
как семя семени того,
которым ты начнешь свой род.

Смотри: их тело, как жених, играет,
и, лежа, как ручей течет и увлекает.
Как украшение, оно прелестно,
живет так страстно, так чудесно,
и в стройности своей включает
все робкое, пришедшее от жен...
Но крепок его род:
в стыда долине, как дракон,
объятый сном, он ждет.

Смотри: они живут и будут размножаться,
и время их не сможет одолеть,
как ягоды в саду, повсюду красоваться,
и, сладостью покрывши землю, рдеть.

Зане: блаженны те, кто в даль не убегали
и без прикрытия под проливнем стояли;
плоды их будут зреть неоднократно.
Для них поспеют, к ним придут все жатвы.

И дальше всех концов они продлятся,
превыше богачей, чей должен смысл теряться.
Как руки отдохнувшие, они
подымутся в решительные дни
над опускающимися руками
племен и царств, прошедших перед нами.

Избавь нас от оков тех городов больших,
где боль и грусть их ночью ожидает,
где вечно злоба и смятенье,
и где в день, сотканный из шума и волненья,
они с израненным терпением засыхают.
Ужели у земли нет места и для них?
Кого-же ищет ветер строгий?
Кто пьет весь блеск ручья? О ком несется весть?
Иль нет уж больше образов зеркальных
ни для дверей, ни для порога
в прибрежных снах прудов хрустальных?
Как дереву, немного
им места надобно от Бога:
клочек земли, где все для роста есть.

Дом бедного похож на ларь алтарный,
там вечное становится едой.
Когда-ж приходит вечер, то домой

он возвращается чуть слышною стопой
через круг широкий, по дороге дальней;
в себя уходит медленно, печально,
и полон отзвуков, и дышет тишиной...
Дом бедного похож на ларь алтарный.

Дом бедного не то-же ль, что рука ребенка?
Она не то берет, что взрослый взять-бы мог:
жука с нарядными клещами,
и камешек, ручьем закруженный так тонко,
ракушку звонкую, струящийся песок.
Та ручка, как весы, прикреплена,
тишайшими даяньями полна,
качается, как будто шепчет «Отче наш»,
как стрелка, трепетно кивает между чаш.
Дом бедного не то-же ль, что рука ребенка?

Дом бедного не то-же ль, что земля?
Осколок будущих кристаллов звездных,
то светел он, то мрачен, падая у бездны.
Как хлева теплого убогость, та земля, —
и все-ж есть вечера, когда земля нам — все,
и звезды все исходят от нее.
Дом бедного не то-же ль, что земля?

Большие города твердят лишь о своем
и все кругом в свой бег немолчный увлекают;
зверей, как дерево гнилое, сокрушают;
народы слабые сжигают, как огнем.

Людей-же в городах надламывает труд
и падают они из мер и равновесья,
свой шаг улиточный, как Вознесенье, чтут,
свой ход, и бег, и лет быстрят с хвастливой спесью,
и в скачках и бегах не уступая пяди,
стремятся обойти соседа за углом,
нарядами блестят, продажные, как б.....,
и лязгают они металлом и стеклом.

Повсюду, каждый день дразнящий всех обман,
не может больше быть самим собою каждый.
И страшен денег рост: как грозный ураган,
захватывает их. А люди только жаждут,
опустошенные и мелкие, о том,
что-бы вино иль кровь людей или животных
дразнили-б аппетит мишурным торжеством
и крупной прибылью делишек мимолетных.

И бедняки твои страдают между ними:
им тяжело от всего, что видят здесь они.
Отвергнуты людьми они проходят мимо
жилищ, где теплятся приветные огни.
И мерзнут, и горят, дрожа как в лихорадке;
как мертвые, во тьме шатаются кругом,
замараны они всей грязью жизни гадкой,
оплеваны, как гниль под солнечным лучом.
Грозят им: шум колес, сигналы фонарей,
и крики нервные и наглый вид б.....

Но если ты найдешь уста для их защиты,
дай бедным зреть, в твой дом их приведи ты.

О, где-же тот, кто времени оковы
с себя сорвав, настолько крепок стал
для бедности великой и суровой,
что на базаре он одежды снял
и голым пред епископом предстал.
Тот,
кто ближе всех, любовью кто богат,
пришел и жил, как новый, юный год,
твоих певцов пернатых смуглый брат,
в которых для земли—благоволье
восторги, чудо и расположение.

И не был он один из устающих,
безропотно коснеющих во лжи;
с гурьбой цветочков, на полях растущих,
как с братьями, ходил он вдоль межи,
и им рассказывал про то, как жил,
и как себя растратил, не жалея,
на то,
что-б счастья яркий луч для всех светил;
и сердца светлого безбрежная аллея
тянулась вдаль неутомимо;
и малое ничто
не приходило мимо.
Из света он пришел к другому свету,
что уходил глубоко в подземелье.
И там в безоблачном весельи
всегда его стояла келья.
И радовалось все его привету:

Улыбка светлая росла

среди высокого чела,
забавная, как детская игра.
У ней своя история была:
она созрела, расцвела,
как зреет девичья пора.

Когда-ж он пел, то песнь была звучна,
и возвращалось вчера,
мечты забытые обратно приходили,
и в гнездах всех стояла тишина,
и лишь сердца монахинь голосили,
когда он их касался, как жёних.

Тогда из уст его пурпурных, но сухих
неслышный цветень песни небывалой
струился в грезах к любящим сердцам,
и падал медленно на дно к цветам.

Его, чистейшего, они прияли
на лоне их, служившем им душой;
они глаза, как ровы, закрывали,
и были волосы полны любви ночной.

Был принят он и малым и великим.
К зверям являлся часто херувим,
и радостным и нежным кликом
рассказывал он им,
что самка их приносит плод в тиши.
И были бабочки чудесно хороши.
Все вещи вдруг постигнули его
и взяли плодородье от него.

Когда-ж он умер так легко,
как умирает безымянный,
то поделили все его:
ручьи его струились семенами,
в деревьях плоть его дрожала томно
и из цветов выглядывала скромно.

Лежал и пел он, как жених.
Когда-же сестры приходили,
то слезы лили
о милом муже их.

Куда-ж он ясный отзвучал? Не чуют-ли
его, ликующего, молодого,
те нищие, что тут в пыли
ждут, что-б он к ним явился снова?

И в сумерки, что землю облекли,
зачем он не встает вдали
сияющей вечернею звездой
великой бедности Святой?

О Г Л А В Л Е Н И Е:

КНИГА I: О МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ.

1. Склоняется час	23
2. В кольцах, вечно растущих	23
3. Есть много братьев у меня в сутанах.	24
4. Свободно рисовать нельзя нам образ твой	24
5. Люблю я сумерки души моей	24
6. О, если иногда, сосед мой, Боже	25
7. О, если-б совершенно тихо стало	26
8. Живу как раз на грани двух веков	27
9. В твоём глаголе это я читал	27
10. Бледный мальчик Авель говорит:	28
11. Ты-тьма, что родила меня	29
12. Я верю всему, что не сказано раньше	29
13. Одинок я на свете	30
14. Ты видишь, я много хочу	31
15. Мы руками дрожащими храм воз- двигаем	32
16. Оттого, что когда-то тебя возлюбил хоть единый	32
17. Кто жизни тьму противоречий	33
18. Зачем в кистях мои блуждают руки?	33
19. Я здесь, смиренный мой	34
20. Нет, жизнь моя — не этот час крутой	35
21. Когда-б я вырос гденибудь	35
22. Я нахожу тебя всегда на новый лад	36
23. Голос молодого брата	37
24. Смотри, Господь, пришел строитель новый	37
25. Люблю тебя, нежнейший тот закон	38
26. Мы все рабочие различных степеней	39
27. Ты так велик	40
28. Так много Ангелов	41

29.	Во время Микель Анжело то было . . .	41
30.	Та Божья весть, что веет над Италией	42
31.	Здесь тоже не была забыта	43
32.	Когда-же тяжесть полных гроздей . . .	44
33.	Ее писали так.	45
34.	Той ветвью, что вовек	45
35.	Я верить не могу, что маленькая смерть	46
36.	Когда моей наступит смерти срок . . .	47
37.	Ты — тихо шепчущий	47
38.	Молодому брату	48
39.	«»	49
40.	Есть гимны у меня	50
41.	Господь, дай мне постичь тот час . . .	50
42.	Все, кто руки свои простирают	51
43.	Наше имя поставлено нам	51
44.	Самое первое слово твое	52
45.	Ты входишь, уходишь	53
46.	Ты глубочайший, что восстал	53
47.	Я знаю: ты загадочный.	54
48.	Вот день рабочий	55
49.	Вы тысячи неосаженных городов . . .	56
50.	Иду в свой дом от всех скитаний . . .	56
51.	Тебя объять лишь делом можно	58
52.	И плащ, и волос жизни всей моей . . .	59
53.	И Бог велит, чтоб я писал	59
54.	Возникло много богословов.	60
56.	Тебя поэты стали расточать.	61
56.	В соборы редко солнце проникает . . .	62
57.	В него вошел я, как паломник	63
58.	Как у сторожа в старых плодовых садах.	64
59.	Бог с каждым из нас.	64
60.	Я был у старейших.	65
61.	Ты темная почва.	66
62.	Я просыпался, как дитя	67
63.	Что раньше не было меня.	68
64.	В ветвях твоей вершины	69
65.	Ты расположен	70
66.	За час до заката	71
67.	И все же... случается мне.	72

КНИГА II: О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ.

1. Грозы напор тебя не удивляет	75
2. Я вновь молюсь.	76
3. Я тот-же все	78
4. Ты вечный	81
5. Моя молитва — не хула тебе.	82
6. Заботы все Его для нас	83
7. О, если ты глаза мои потушишь	83
8. Душа моя обнажена.	84
9. Наследник ты.	85
10. И ты наследуешь всю зелень	85
11. Я—лишь один из самых малоценных	88
12. И все-же, несмотря на то	89
13. Ты — тот старик	90
14. Несутся вести, что ты есть.	91
15. Все кто ищут тебя.	91
16. Когда роняю из окна	92
17. Ты думаешь: смиренье?	94
18. Последний дом стоит	95
19. Бывает, что один за ужином встает	96
20. Безумье — ночи страж	96
21. О тех святых ты знаешь-ли, Господь?	97
22. Ты — даль грядущего.	99
23. Ты монастырь «К зажившей ране»	100
24. Цари земные старцев всех старей	101
25. Все будет вновь великим.	102
27. И нету никогда в домах покоя	103
28. Я-б тоже так хотел к тебе итти.	104
29. О, Бог, хотел-бы я меж странниками быть.	104
30. Ты днем — реченая легенда	105
31. Вот утро странников	105
32. Вот зреет уж пурпурный барбарис	109
33. Не должен ты бояться, Боже.	110
34. О, клад, что в глубокие ночи копал я	112

КНИГА III: О БЕДНОСТИ И СМЕРТИ

1. Чрез горы тяжкие.	115
2. Ты — та из гор.	115
3. Дай мне быть стражем твоих далей.	1.6

4. Большие города, мой Бог,	117
5. И люди там живут	118
6. Господь, дай каждому	119
7. Зане: мы только шелуха	119
8. Господь, беднее мы	120
9. Господь, создай кого-нибудь вели- ким	121
10. Сверши над нами этот знак послед- ний	122
11. Его хочу овеять славой	123
12. Обоим голосам итти за мной вели. .	123
13. Большие города — виденья, наво- жденья.	124
14. Сады-же те построены.	125
15. Потом увидел я дворцы	126
16. Они не бедны, нет.	128
17. Ведь бедность их великий блеск .	128
18. Ты — бедный, неимущий ты	129
19. О, ты, кто знает все.	130
20. Взгляни на них.	131
21. Они так тихи.	131
22. Взгляни, как жизнь их ног течет среди скитаний.	131
23. И руки их, как руки женщин, стройны	132
24. Их рот, как рот на мраморной фи- гуре.	132
25. И голос их приходит	132
26. Когда-ж они тревожно спят	133
27. Смотри: их тело, как жених	133
28. Смотри: они живут	133
29. Избавь нас от оков	134
30. Дом бедного похож на ларь алтар- ный	134
31. Большие города	135
32. И бедняки твои.	136
33. О, где-же тот?	137
34. Куда-ж он, ясный, отзвучал? . . .	139
